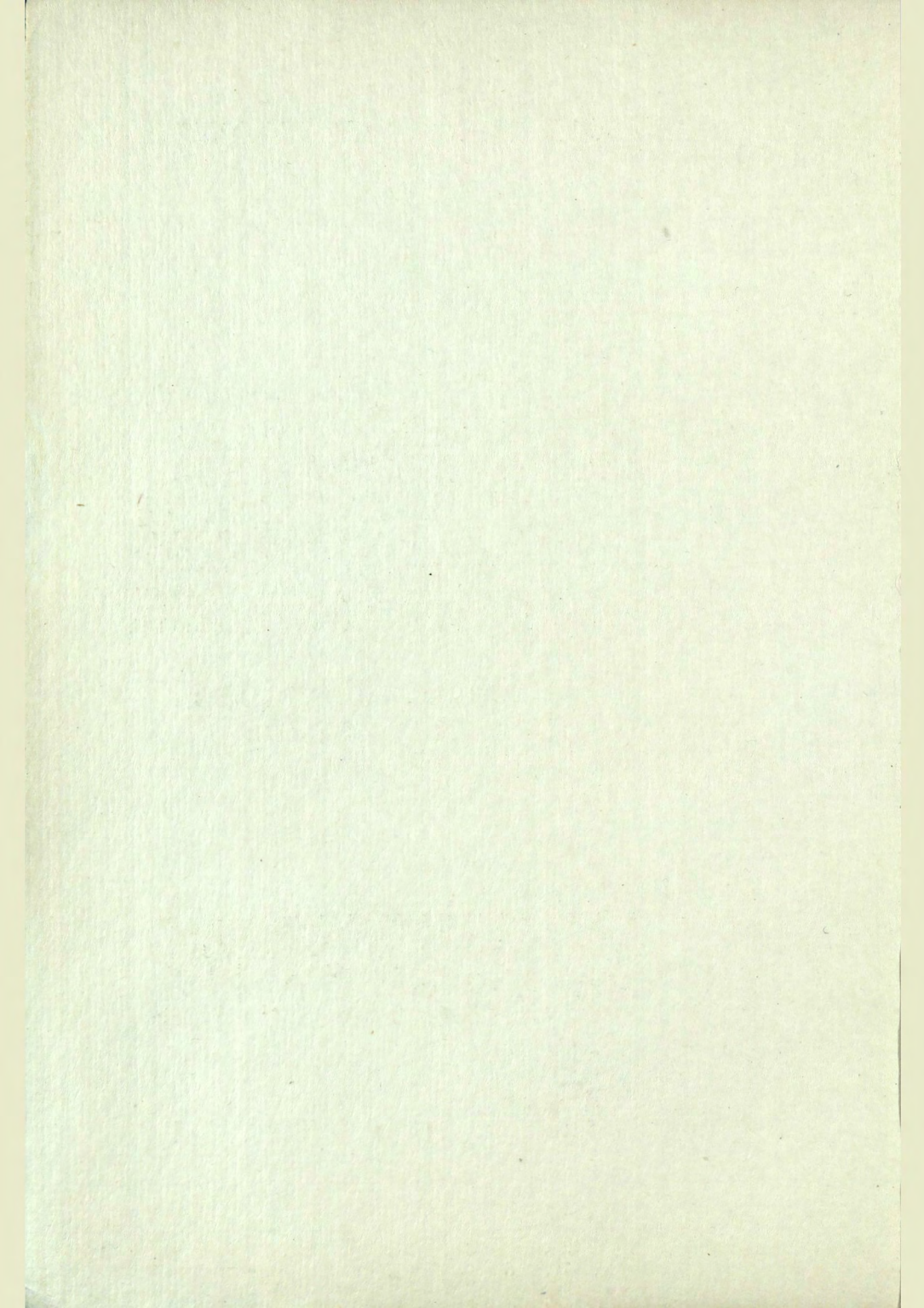




СУМЕРКИ



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР. 1992. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СУМЕРКИ - ЗАРЯ, ПОЛУСВЕТ: НА ВОС-
ТОКЕ ДО ВОСХОДА СОЛНЦА, А НА ЗА-
ПАДЕ, ПО ЗАКАТЕ; /ВООБЩЕ/ ПОЛУ-
СВЕТ, НИ СВЕТ, НИ ТЬМА; ВРЕМЯ, ОТ
ПЕРВОГО РАССВЕТА ДО ВОСХОДА СОЛН-
ЦА, И ОТ ЗАКАТА ДО НОЧИ, ДО УГАС-
НУТИЯ ПОСЛЕДНЕГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.

Владимир Даль. Толковый словарь
живого великорусского языка.

СУМЕРКИ

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР. 1992. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЭЗИЯ.ПРОЗА

Валерий
Шубинский.
Каталог

6

Василий Аксёнов.
Пока темно, спишь

12

Журнал
Василия Радзевича

73

ГЛАСНЫЕ
И СОГЛАСНЫЕ

Об улитке,
букве Г
и кое-чём ещё

140

Михаил Сорин.
Абстракция

152

Валерий Земских.
Простая книга

53

Олег Юрьев.
Из детства Изи

58

Олег Рогов.
Стихотворения

68

ЭТАЖЕРКА

Анатолий
Александров.
О Тихоне ЧуриLINE

112

Тихон Чурилин.
Стихотворения

119

BOOKSTAND

"Забитый
авангард"

130

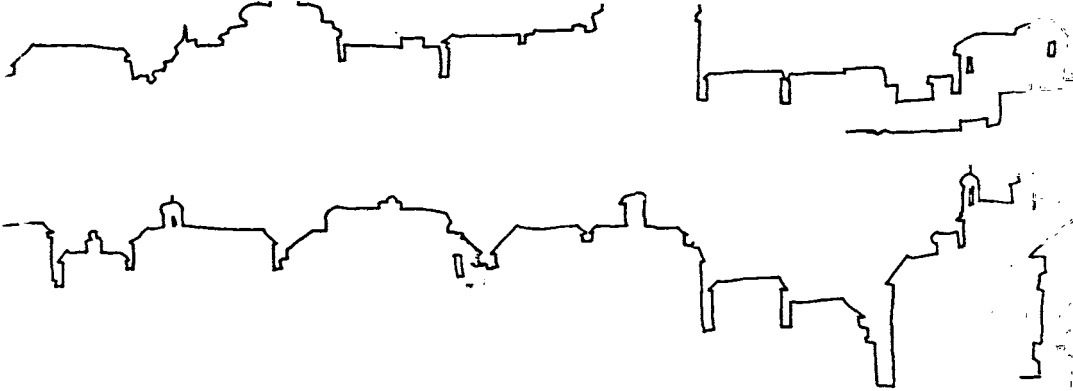
Анатолий Гарзах.
Такой

156

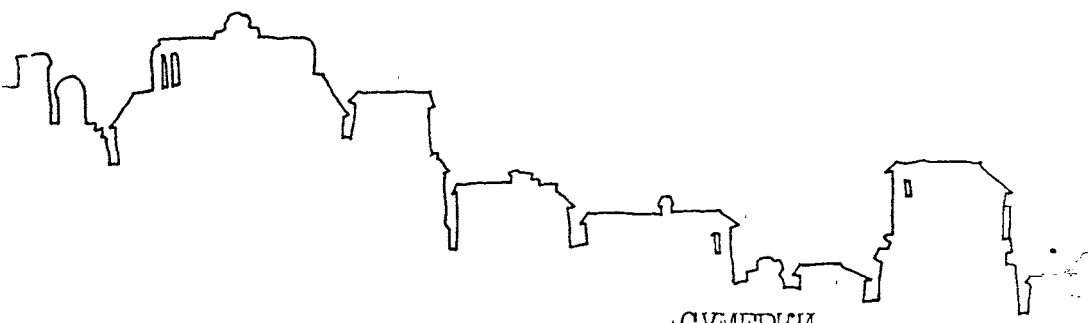
"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ
СРЕДИ ВЕКОВ.."

Вера Арнс -
Александр Блок

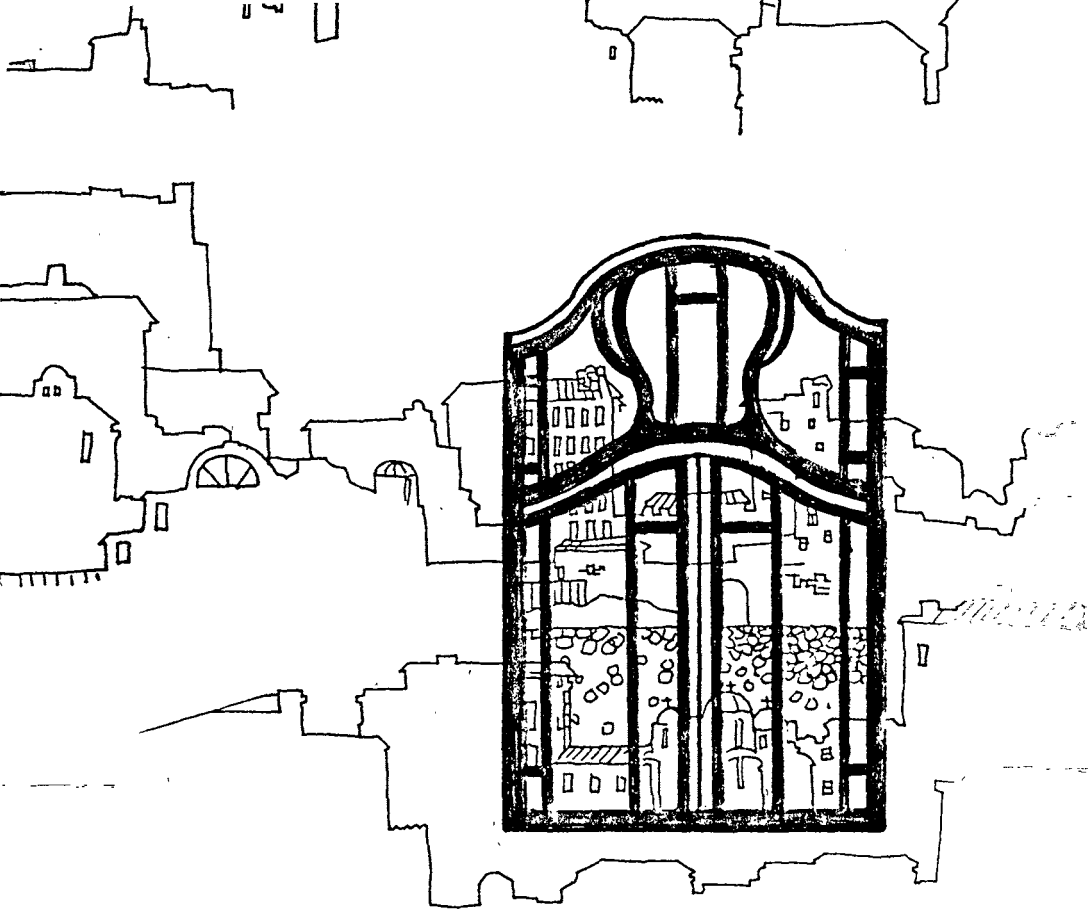
186



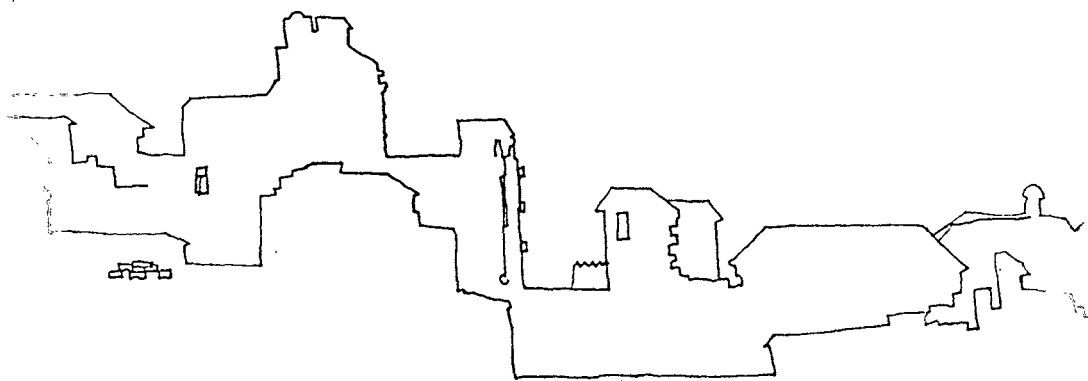
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР



СУМЕРКИ



ПОЭЗИЯ. ПРОЗА



6



ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ

Слово

Воздутый шар, колеблемый на нитях,
Качающихся в мраке кочевом,
Да эхо краткое в небесных нетях,
В воздушных отслоеньях, долях, третях,
Изъеденное солнечным червем...

Коль голос дан, в его распаде пенном
Любой предмет в беззвучьи растворён —
В сердечном танце, пеньи внутривенном,
Существованьи вечном, но мгновенном,
В дыханьи чёрных августовских крон.

Не дивно ль в этом царстве теплокровных
Растений и рыдающих вещей?
Бессуден этот заговор неравных,
И только сгусток гласных своенравных
Смиряет их, как музыкой Орфей.

Я раб его, я ничего не стоил,
Я был ничем, когда в блаженный миг
Тоскующую бездну успокоил,
И плотный облик облаку присвоил,
И сам овеществления достиг.

Точнее слов и старше лиры ветхой
Горючий сумрак, спрятанный в строке —
Тот скованный тугой словесной клеткой
Осколок пенья — пленник тьмы безверхой
На первородном, звёздном языке.

1986

х х х

Сотрапезница – ночь отворила дырявые веки,
В голых ветках живёт длиннопалая музыка. Пусть
На двугорбую гору вернутся чернильные реки –
Никого не люблю я, и уже ничего не боюсь.

Будто скользкие ветви, двоится в столбящемся прахе
По дороге забредшая смерть, как они, хороша.
Нет, не здесь, а в бессмысленном, кровном, подложечном страхе,
Как в исписанном нотами коконе, выростала ванесса – душа.

Видишь, первая смерть подымает отравленный коготь,
Расправляет железные крылья, пока наугад
Воплощаются пленные мысли, и музыку можно потрогать,
И чернильные реки грозят обернуться назад.

Я вхожу в шелушащийся сад, поглощающий пламя,
Где я сам – только точка в узоре, где не словом – цифирью зовусь,
И, вконец онемев, повторяю одними губами:
"Никого я уже не люблю, ничего не боюсь".

А вторая – прозрачной воды, легче праха, без тела и строя:
Тусклый воздух подкрашен, и мило по ошибке прошит
Пёстрой нитью дождя, тополиною чёрной иглою,
И на щётках елей неровное небо лежит.

Распадается плоть, а души я уже не имею.
Но в коблатом огне, на который не страшно смотреть,
Исчезает земля, и становится воздух синее,
И оглошная бабочка разрывает железную сеть.

Этот мид, догорев, не рассыпался ласковым дымом –
Лучевой тоской он живёт в затвердевшей крови,
И теперь соблазняет нечётким и неуловимым
Охом самого смертного страха и самой бессудной любви.

1990

Рождение

Чей это взгляд так рвётся вон из рамы,
Из раны слов? Кому он строит ковры?
Чей блеск, чей блик? С китайского экрана
Сбегают ангел многолепестковый,
Как тень того, кто не имеет тени,
И звуку звук садится на колени.

Земля мертва, она скользит бессветной
Летучей мышью между звёзд озябших,
И нет любви, коль огонь её ответный
Прозрачней лепестков полуопавших.
Мертвы вещей растрёпанные розы
И мыслей однокрылые стрекозы.

Пускай их сок, многоречиво-косный
Последнее удерживает пламя,
И рыбы, превращаясь в студень костный,
Ещё вращают полыми глазами —
Мертва душа, она окоченела,
И в льдистых смолах растворилось тело.

Но не злорадствуй, самозванный шорох,
Что наша плоть остыла и увяла:
Есть сплав лучей, он блещет в слёзных шорах,
И легче вдоха, и прочней металла.
Нездешней кровью полны наши жилы —
Нетленны мы выходим из могилы.

Не зря мы опускались в сердце звука
И эту твердь насквозь перебежали.
О, что нам стыд, и голод, и разлука!
Наш брат, рождённый в солнечном зеркале,
Полюбит нас и станет нашей тенью —
И мы готовы к новому рождению.

Каталог

Мне уже не снится шум колёсный,
Спуск шоссе в разводах белой пыли,
Нежный запах приморской гнили,
Небо обжигающие шпильи,
Жёлтые пригорки, где застыли
Отощавшие от страха сосны.

Мне уже не снится жучье лето,
Жирный Борисфен в упругих скатах,
Древний львёнок у холмов косматых,
Синька неба в облачных заплатках,
Круглый мир в бесчисленных утратах
От всепроникающего света.

Мне уже не снится пруд стеклянный,
Пудожские мшистые воротца,
Гипсовая слава флотоводца,
Урна, из которой скудно льётся
Влага влаг, и небо, где смеётся
Надо мною ангел полупьяный.

Снится мне небесная калека —
Звёзды расклепавшая неряха,
Веретенце бросившая пряжа,
Города сжигающая птаха,
И ограда липнущего праха —
Скорлупа всемирного ореха.

1991

Садовник

Капризную чёрную розу,
Которая снилась с рожденья,
Которую вылепить надо
Из жалости и духоты,
В предсердьи стеклянного сада
Звенящие помнят растенья,

И знают бугристые лозы
Про глухонемые цветы.

Ночной человек, я не внемлю
Ни сердца дремотному стуку,
Ни чёрной пенящей стае,
Ни реющей речи людской.
Я сплю и впотьмах пожимаю
Пространства тяжёлую руку,
И глазу голодную землю
Такою же мёртвой рукой.

А там, за мою спиною,
Где на море Север повернут,
Всё бьётся меж облачных бород,
Всё копит клокочущий срам
Изъеденный воздухом город,
Как царская кукла, задёргнут
Мерцающею пеленою,
Спадающей по вечерам.

Колелебующимся изваяньем,
Я знаю, железная роза,
Из этой опухшей землицы
Ты вырастешь на пустыре,
Ты вскрикнешь, как старая птица,
Холодная, дряхлая роза,
В пространстве, бессмысленно раннем,
На первой посмертной заре.

И умные пчёлы наполнят
Бессмертьем словесные соты,
И вспыхнет от звона и гуда
Двухтысячной ночи хребет,
И я, не дождавшийся чуда,
Пройду сквозь чужие высоты
В невидимый дом, где не помнят,
Во что воплощается свет.

1990

II

12

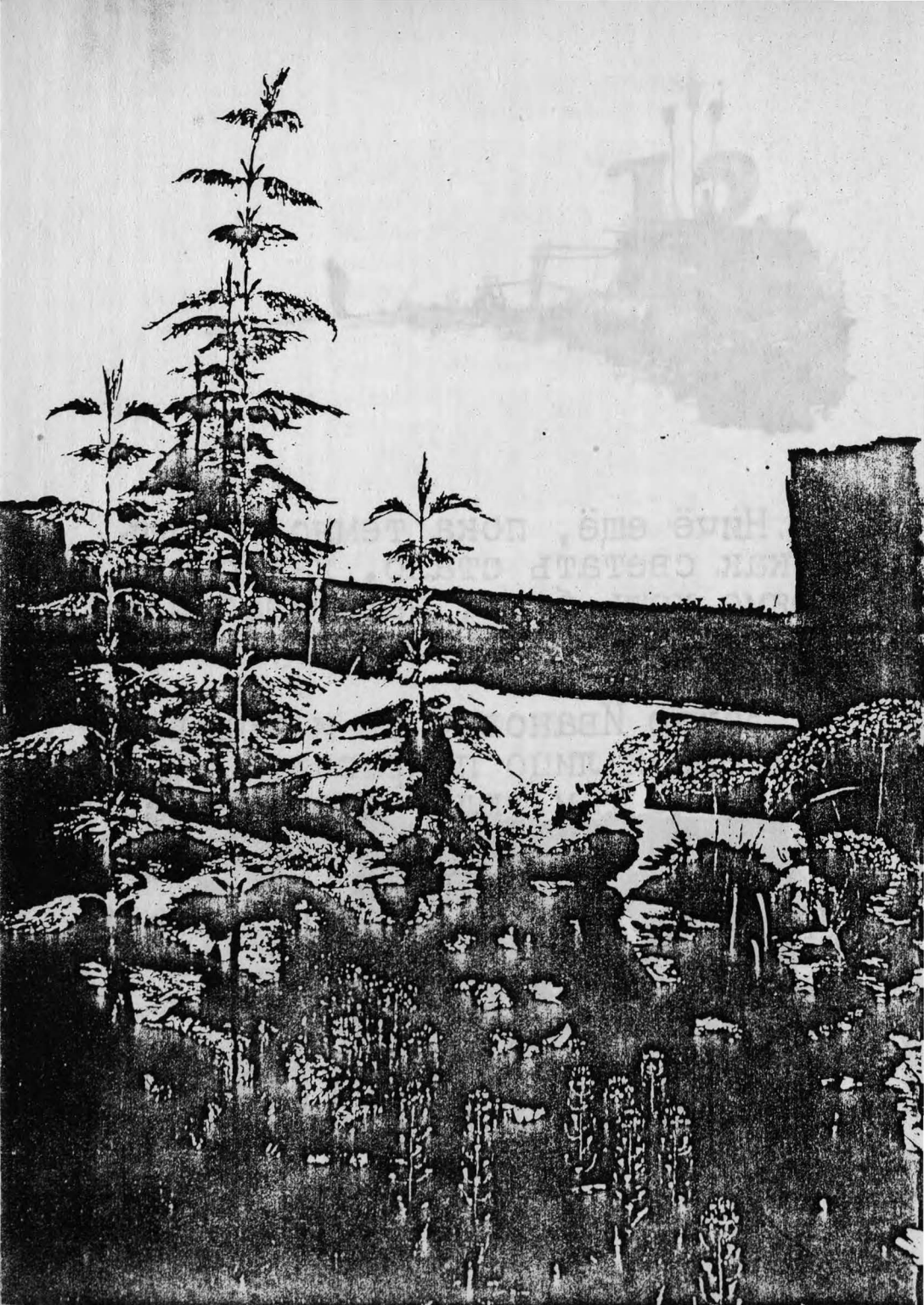


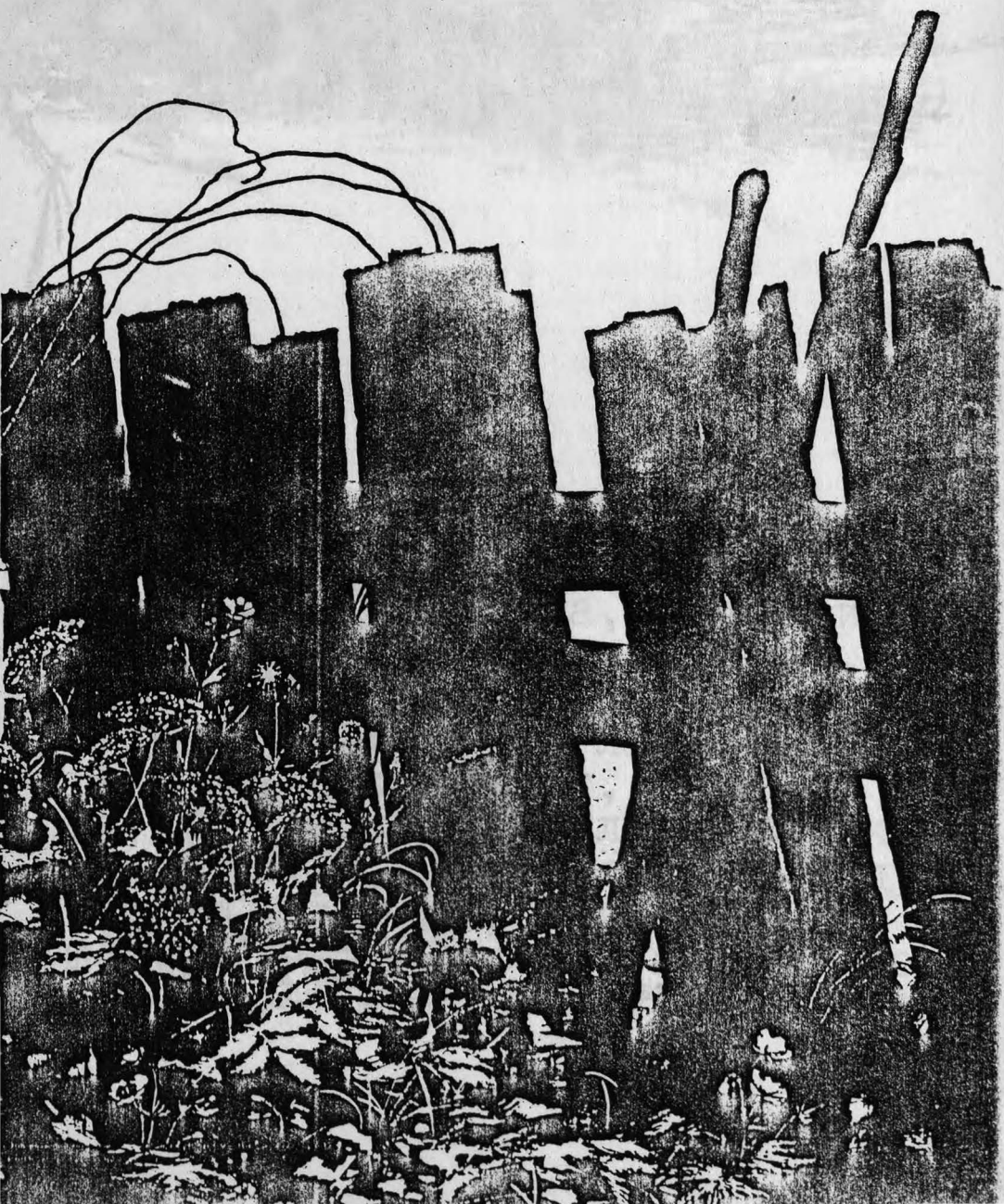


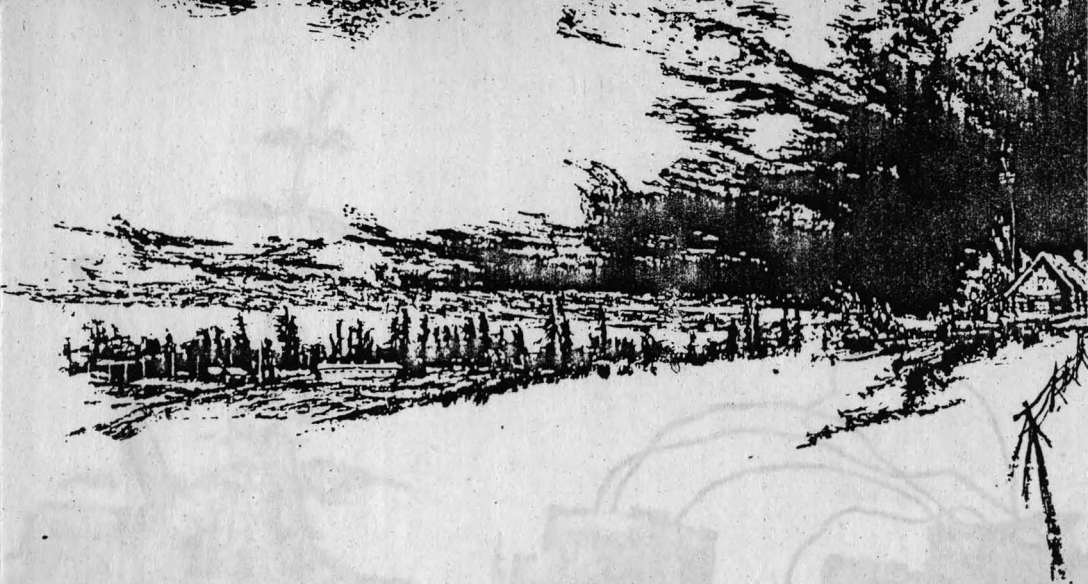
Ничё ещё, пока темно, спишь, а как светать стало, дак сетку прямо хошь бери, натягивай и в сетке спи. Другого выходу нет, ага.

Захар Иванович уж и тюлевой скатёркой лицо покрывал.

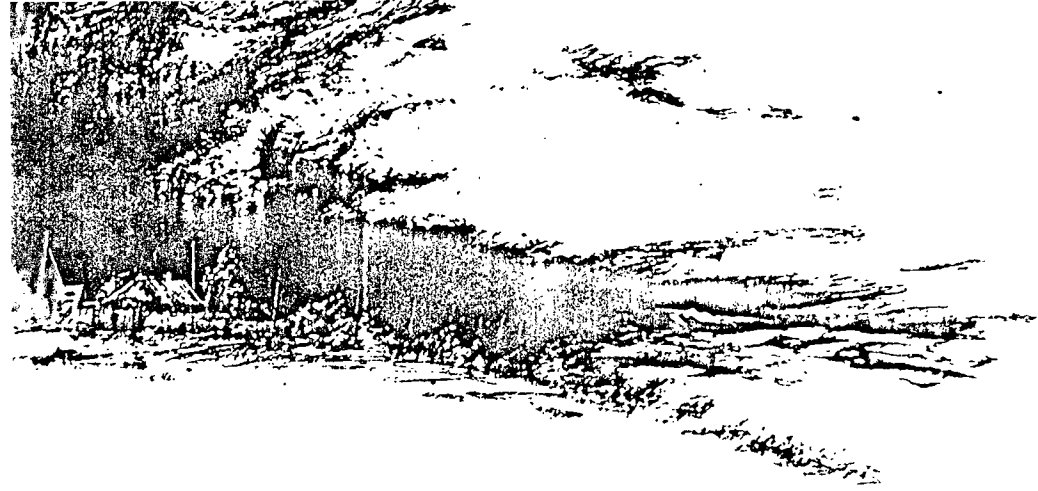
Да чё там тюлевая скатёрка, смех один, когда они, вертихвостки, и сквозь штаны дегтярные прокусят. О ткуда их, лихорадок? С вечера вроде всех извёл. И в той, и в этой половине, и на кухне с фонариком выходил тща тельно - не оставалось вроде ни одной.. А Матрёне вон - той хошь







ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ



17

бы хны... Вы только гляньте на неё... ты посмотри-ка, посмотри: спит, мать её, и в ус не дует. Не поведёт даже и бровью. Они, заразы, ей по губам лазят, в норки забраться норовят, а она... хм, ну и порода. Ни клопы ей, ни мухи. Рой ос бы на неё, на колоду мшалую, или шершней. А ей хошь шершней, хошь весь зоопарк на неё выпусти, шило хошь возьми и шилом

её, дак один хрен, до времени глаз не растворит. Кожа, наверное, свиной потолще. Да ни в како, поди, сравненье. Не кожа, а рогажа. Эвон чё. Это куда ж годится—то...

Пальцами ног ущипнул Захар Иванович сударыню свою за икру, а сударыня только глубже, словно поминула кого, вздохнула, но не проснулась.

Из такой кожи обутку сделай, дак износу ей не будет. Хм. Заорать, ли чё ли, что Зорька отелилась? Что сено с огорода увезли, что... Глупось. Тут хошь саму вместе с койкой на площадь вон на трёх бульдозерах вывози да... Путь дрыхнет, может, во оне чё умное увидит. Зверство, конечно, получается какое-то: мужик не спит, мужика мухи зажрали, мучается по чём зря мужик, а эта туща... он как ноги-то расшеперила, как деушка. Не баба, а...

Ничего не пришло на ум, с чем можно было бы сравнить жену свою, и Захар Иванович с головой забрался под одеяло. Но скоро обнажил лицо.

Фу! Тыпу-у-у! Не баба, а печка.

Стянув с себя пропотевшую рубаху и разогнав её назойливых насекомых, он укутал рубахой голову, а руки спрятал под подушкой.

Так-то оно лучше. От них же, пакостей-то этих, ну никак, хошь в подполье залазь. Собаки... да не собаки, чё собаки там, а штрафники какие-то, кровососы голодные. Никогда раньше такого, чтобы язвы эти кусались, не бывало. И от стариков не слыхивал. И отец, не помню, чтобы жаловался. Понанесло же кровопиек. А может, меняется всё потихонечку: кто раньше не кусался, теперь кусаться будет; кто раньше так, тот теперь эдак? Глядишь, и с Матрёной чё-нибудь переменится. Да это вряд ли, разве что в ширину ещё раздастся. Китайцы, наверно, мать бы их в душу желтопятую, плодят там да распускают. Неровён час, что и болезнь каку растаскивают. Летают, жужат, верещат... а на лапах... гранаты...

Задремал Захар Иванович. Но пригрезилось ему что-то беспокойное: не то били его, не то задушить пытались — ездил он по подушке укутанной в рубаху головой и сучил ногами так, что порвались штрипки на исподних. Одеяло сползло на пол, оголив его спину. И мухи тут как тут: надели, забегали, зашкотали, то и дело вливаясь в тело мужика.

Ох ма-а-ать честная!

Захар Иванович сорвал с лица рубаху, взглянул на часы, но

стрелок не разобрал.

Да это чё ж тако-то, а! Матрёна-корова-недоёна, амбар увозят! Сено горит! Зорька слонем отелилась! Трусы твои с верёвки воробьи утащили! Сдохнуть легче, чем спать с тобой на одной койке! С покойником — с тем и то, мать бы его, наверно... да тыфу ты!

Захар Иванович сорвался с кровати, включил на всю катушку "Альпиниста", подаренного ему на шестидесятилетие соседом Араниным, и принялся собирать разбросанную с вечера одежду.

"...Для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири... рывки руками и встряхивание кистями...".

Захар Иванович вспомнил вдруг своего старинного приятеля Ке-ху Бродникова. Приняв лишнего, Кеха безо всякой на то причины и без повода начинал размахивать, трясти, словно в судорогах, своими руками, вывёртывать их и кричать при этом: "Я — Кеха Яланский! На меня где сядешь, там и слезешь! Чужого не возьму, но и своего не отдам! Кто в лес, а Кеха — в ельник! Лес рубят, а Кеха ползай, щепы собирай! Ложит — чужое, подобрал — моё!" — и так без умолку, кого хочешь из себя выведет, и выводит.

"...Ноги на ширину плеч, руки в стороны...".

Где-то я такого видел? Точно такой же придурок... А-а, в Елисейске, на автовокзале, туалет — дак на двери. В Бородавчанске тоже вроде есть. Только те в шляпах. Может, и этот в шляпе? Не узнаешь.

Натянув штаны, согнувшись и пальцами забравшись в штанину, расправлял Захар Иванович завернувшиеся до колен кальсоны.

Громше, громше ори, всех там собери, давайте уж скопом... Где она, гача эта проклята... Матрёна готова: и ноги вон на ширине, и руки в стороны, а чё дальше делать, и не расслышит, бедная. Да на гармошку, или чё там у тебя, дави пошибче. Силы нет, что ли? Или не покормили тебя перед этим?

Захар Иванович развернул наконец-то исподние и связал обрывки подвязок.

Куда ты гонишь, полудурок! Штаны застегну, тогда и присяду. Матрёна, руки, человек тебе говорит, в локтях согни. Вишь чё, парень, ты ей одно, а она другое, ты ей — руки, а она тебе — ноги. Таковую и на туалете не нарисуешь. Вообще-то оба хороши вы. Сам, небось — рад, что не видно, — на табуретке расселся, а людей спо-

заранку кости ломать заставляешь. Хе-хе: согнуться, достать пальцами... с табуретки-то можно, а тут согнёшься и не разогнёшься.

Захар Иванович поднял с пола и бросил на кровать одеяло. Кинул взгляд на жену.

Пава, ядрёна вошь.

Не выключив приёмник, он вышел из спальни, затем, громко брякая рукомойником, помылся, высморкался в таз с ополосками и покинул дом.

С крыльца шумно разбежались курицы. И только петух, косясь на хозяйина и переминаясь с ноги на ногу, то ли растерявшись, то ли — на риск свой и страх — вообразив себя храбрцом, остался на месте. Пёрышки у гребня медленно приподнялись, а один глаз его наглухо вдруг затянуло веком. С ходу хозяин ловко поддел птицу носком сапога и отправил её вверх.

— Ты мне ещё тут.

Получив помощь, петух заделал на забор и, словно только этого и ждал, сипло закукарекал.

— Проснулся, вспохватился, дурак голенастый. Поори, поори, харя пустоголовая. Давно уж топор по шее твоей плешивой плачет. Заткнись, тебе сказано, — Захар Иванович взял Матрёнину калошу и замахнулся.

Бог знает куда смотрел в это время петух, глаз ли его так и не раскрылся, но опасности он не заметил и продолжал притворно горланить, пока точно запущенная обутка не прилетела в бок ему и вместе с ним не упала за ограду.

— Научу, идрит-твою-в-корень.

Захар Иванович присел на ступеньку крыльца и закурил. Дымок потянулся к навесу, обогнул его и канул в утреннем воздухе. "Эх, винтовка-пистонка". Небо сплошь затянато лёгкой, невесомой пеленой и лишь по востоку, там, где над забором виднеются макушки едва озарённых сопок, светится жёлто-оранжевой полосой. Из ельника взметнулась стая ворон и, галдя о чём-то во всё горло, полетела в деревню завтракать. "Эх, сущесво-вешесво". Где-то напротив, проскрипев протяжно и тоскливо, напомнили о себе ворота. И тут же послышался женский голос: "Ну-ка, пошли отсюда! Нашли место! И чё вас привязало-то тут только! Всю уж подворотню залепили, холеры. Негде им больше. Шли бы вон к речке, там бы и окочивались. На всю деревню одного пастуха найти не могут". Звяк-

нули вёдра, а ворота сказали: и правда что, мол, бум. Захар Иванович заводил головой, пытаясь через щель в заборе обнаружить кричавшую женщину. Увидел, оглядел её снизу доверху, ухмыльнулся.

— О-о-о, Араниху тоже, никак, мухи с кровати согнали, то-то такая злющая: коровы ей помешали... всё ничё, а тут, смотри-ка...

"Нам бы с Араниным бабами... или хошь кожей бы на этот период поменяться. А то везёт же дуракам", — подумал Захар Иванович.

Прохладный, сытный воздух, утренняя благодать, несколько затяжек крепкой папироски натошак, поднявшаяся с постели, если и не раньше, то одновременно с ним, зазноба его молодости, Араниха, и попавшийся под ногу петух развеяли совсем уж дурное расположение духа Захара Ивановича, так что, когда спустившийся с крыши кот, большой и белый, взбежал по крыльцу и, выгнув жирную спину да мурлыча простуженно, принялся, потираясь, расхаживать возле него, Захар Иванович, как было бы обычно, не щёлкнул кота промеж глаз, а ласково даже потрепал его за обмороженное когда-то, раздвоившееся ухо и молвил:

— Ну, что-о, Бельмотро-о-он, наво-о-ошкался... вдо-осталь. Натё-е-ешился. Отвёл душу свою кошкадронскую. Вот сукин кот, мне бы твою жизнь. Ладно, ладно, хватит шоркаться-то, пинжак весь шерстью своей увозишь. Паш-щёл! Каму сказано, а то... — и пристроил для щелбана Захар Иванович костистый палец.

Выученный, вышколенный хозяином Бельмотрон не заставил себя уговаривать — разом прервал свою монотонную, подхалимскую песенку, поник зарепеванным хвостом, выпрямил спину, лишь ненадолго задумался как бы, вспомнил будто дела поважнее, засеменил к приоткрытой двери — и был таков в сенцах.

"Тадёныш. Но. Ни мишь тебе словить, а те уж обнаглели: с ним вместе из одной миски лачут. Сволочуга. Ни детей тебе кормить, а всю Шедудянку уж Бельмотрончишками своими заселил, куда ни глянь, всюду котятка белые. Нахальга. Ага. Ни картошку ему копать. Ни мухи его, падлу такую, не кусает. Всю жизнь, матушку его промеж бы ног, на кошках прокатался. Удавлю паршивца к зиме. Прямо в ограде вон, на бельевой верёвке, пусть Матрёна повоет, — пустил Захар Иванович дымное колечко и поставил встреч ему кукиш. — Вот рёву-то где не оберёшься. Как султана хоронить, наверно, будет, со всеми почестями басурманскими, в караул меня ещё поставит. Не о ком печалиться бабе. Кот есть в доме, а мужика

будто и духом не пахло. Этому и сливочки и брюшко почешет... эх! И: "Бе-еля, Бе-еля". Гамнеля. Пусть бы Беля твой тогда и сено косит, раз сливочки пьёт. Пораньше встану, поймаю и удавлю, ага. Или ещё с вечера. — Захар Иванович накурился, напустил в патрон папиросы слюны, а после бросил папиросу под ноги и затоптал. — Кидаешь где ни попадя окурки свои паршивые. И кидаю. У тебя ещё буду спрашивать: где, мол, Матрёна Митрофановна, окурочек прикажете приткнуть мне? Здесь? Тама? Ага. Нет, барышня, как где кидал, так и кидать буду. Не столб телеграфный — согнёшься и не сломаешься, если и подберёшь где раз-другой. Не цаца какая. На то ты и баба... — Захар Иванович поднялся, отряхнул сзади штаны и спустился с крыльца. — Вот ведь, ити-вашу-мать! Ей хоть говори, хоть нет. Тыщу раз уж долдоню: не оставляй где попало колун — черенок-то не оловянный — прееет. Нет, мать бы твою крапивою. Ну что, скажите, за мамзель. Не баба, а... обух от колуна. — Захар Иванович поднял с земли дровокол и отнёс его под навес. — Ишь ты, весь оборжавел. Возьми, кто рази против, поколи, дак положи потом куда следует. Хоть объясняй, хоть заразобьясняйся, а хоть расшибись тут, с места не сходя вот. Век живут, и век нянька за ними следом бегай — собирай где чё. А скажешь слово, дак что-о-о ты, дак Боже упаси, лучше и не связывайся, смотри, кабы глаза не выцарапали... Прямо вредительство какое-то".

Солнце горбушкой выглянуло из-за сопки. Его лучи обагрили белёные деревенские трубы и скворечники. Вспыхнули окна, к нему обращённые, и порозовели стены домов. Заиграла, веселясь, роса — словно обрела утраченные краски, потому и веселится. Там и тут запели горластые петухи. А на соседней улице пожаловался колодец-журавль: что ж, батюшки, неужто утро? И поползли, поползли, проныкая в каждую щель, крепкие запахи разного варева и стряпанины, вызывая в воображении образы горшков, кастрюль и сковородок.

"Корова не доится, дак, думат, и дрыхнуть, что ли, до обеда можно. Соскочила бы, пирогов бы хоть сварганила, блинов, ити-вашу-развашу. Послабь ей, гадом буду, век бы на койке и провековала. Ещё кто бы ей туда харч, паёк бы сухой приносил на подносе, ага... да в баню бы раз в... полгода бы таскал, вот уж бы радато была. До войны вроде с ней такого не было, шевелилась малёхо, а после, будто кто мешком её по башке саданул — контузил".

Остановился Захар Иванович посреди ограды и, прикрывшись

ладонью, уставился на пухлое, рдяное солнце, уже отлетевшее от крошечных старых, корявых сосен. Примчавшийся из-за сопки тёплый ветерок напустился, погнав расторопно на запад морок, расчищая солнцу дорогу. И заметался по низинам отяжелевший за ночь, привыкший было к земле туман, не зная толком: пасть ли ему, распластаться, рососою притворившись, податься ли ему вверх и замешаться в убегающем мороке.

"Встало, родимое, поехало. Кажен день, без всякого омману. Это тебе не человек — она вон до сих пор лежит в кровати, нежится — и не часы, конечно, — опустила гиря, кончился завод ли — и остановились. Пора — взопло, времечко — закатилось. Ю. Хошь и не видно который денёчек-другой, за тучами трудится, потом исходит. Да-а. А ведь опять нынче разбывает, разгуляется. Слушай знахарей этих, ага. Сколькой день уж у них по нашему району дожди заливают, по-ихнему, дак море уж у нас должно быть. Хошь бы на смех где одна упала с неба капелёшка. Хошь бы одна, ага. По двадцать лет учатся, штаны отцовские об парты казённые протирают, потом усядутся там и: безо-о-облашно, так их растак, а тут носу на улицу не высунь; пройдут обильные... как они там... осадки, а здесь выходи вон, кричи Аранина и с ём в лото зудись хошь на полянке... Чё же мне это такое-то, а? Вот так-то это? Где же это, где? И воздух как-то... И солнце будто... И туман — тот вроде бы... У-у... Нет, убей — не припомню. Наверно, пелёночное что-то".

Не выудив из памяти того случая, который некогда вызвал в сознании его точно такое же ощущение, Захар Иванович окинул взглядом свой двор и направился к калитке, выводящей на бывший пригон, после перестройки двора превращённый в маленький огородец.

"Огурцы уж совсем поухли. Пустыня будто, не Сибирь. На следующий год парники надо будет сделать в другом месте. Тут, правда, навоз ближе таскать, зато солнца меньше... вот когда ещё оно здесь появится, после обеда только. А без солнца они всё у нас как-то: крючком, как уродец, вылупился — и окочурился, стыдно и людям на стол когда выставить. И не пустыня — тундра, так-растак". И забыл Захар Иванович напрочь, забыл, что сам три года назад в споре с женой и сыновьями настоял на том, чтобы из большого огорода парники перевести в маленький, где, дескать, место

выше, и теплее, ну а всего важней, что и мальчишки хорьковать там реже станут: "Ёё ж, толстопяту, не переубедишь, не перетолкуешь, здесь вот — и кошь тресни. Упрутся на своём, как эти... Барана, и того уговорить легче, нет, дак по рогам мазданул. А этим и слова поперёк сказать не смей".

По увядшим огуречникам прошёл Захар Иванович к куче свежесброшенной глины и, взойдя на неё, заглянул в глубокую довольно яму.

"Нормальный погреб. Куда уж глубже-то? Не Аранина же хоронить. Не промёрзнет — и ладно. Не знаю, чё ей ещё надо? Глубже, дак тогда и лезь сама, докапывай. Витька бы кошь, что ли, сдогадался — приехал на выходной, сруб бы помог собрать, да и хрен с ём, соберу сам, помог бы спустить. Один яму вырыл, один и докончу, не надо мне ихей помощи. Обойдусь. Век обходился... Уж скорей бы Вовка отслужил, ли чё ли... Этот весь в нашу родову, и карахтером и обличьем. В голове-то побольше толку, чем у этих, Митрофановских, пустоголовых. Глаза выпучат: му-у-у, — так их растак."

Весь огородчик под тенью дома: в огородчике ещё не начался день. В четырёх разноцветных ульях гудят пчёлы, но на леток не выползла ни одна: выжидают, когда испарится роса. Давно поприветствовали день лишь три скворечника, две дуплянки, серые, как пепел, и один, самый высокий, к тому ж ещё и побеленный, смастерён из досок. Известь на нём кое-где смыта дождями, ветрами осыпана. У всех трёх по давности лет на кедровых ветках нет ни иголки, лишь мётлы голые.

"Как на остояцкой могиле, — подумал Захар Иванович. — Это когда же мы их ставили? Лет не пятнадцать ли назад? Да точно. Да нет, однако, а двенадцать. Вовка в первый класс ходил, ли чё ли?.. Вот идь, в крестовину-перекладину, — вспомнил вдруг Захар Иванович, — в ихих до сих пор скворцы да воробьи селятся, а к моему, самому ладному и видному, за всё время, однако, даже ворона хамская на ружейный выстрел не подлетела, только собаки на него, как на чумного, лакт, И чё им, пичужкам, в ём не нравится? Просторно. Вроде и щели все утыканы. Да я, кажись, туда и вату клал. Лицом вон к солнцу. Взаправду, наверно, дурак этот, Аранин, толкует, что в ём бабай с бабайхой разместились. Да и хрен с ними, с бабаями, живи они там. Есть-пить не просят. И им где-то обитать надо, а тут и за квартиру с них не требуют. Вовка при-

дёт с армии, мы его переставим, в ограду вон перенесём... В голове у него, у Аранина, бабай живёт, ага. И бабайха с бабайтами — мозги-то с голоду все съели".

Захар Иванович прогулялся между ульями, смёл от летков мёртвых пчёл, думая при этом, что медовуху надо бы сварить, пока всех пчёл варротоз не стубил, затем осмотрелся по сторонам и вышел в ограду.

"Пойду-к схожу-ка я на брёвна, — подумал Захар Иванович. — Может, из мужиков кто там уж и сидит? Кого, может, мухи, а кого, может, и похмелье выгнало из дому?"

Отодвинув заворину и открыв ворота, шагнул Захар Иванович на улицу. Подняв с земли калошу, запущенную им в петуха, и через забор бросив её на крыльцо, он направился вдоль палисадника, заглядывая в запотевшие стёкла окон дома своего.

"Семь часов Исленьского времени", — сказал "Альпинист" и уюлок. А Захар Иванович разглядел за стеклом суетившуюся в комнате жену и подумал: "Подняла-а-а, бедная, коечку свою родиму заправляет. Ох, не сломайся, туды-твою-растуды. Не перетрудись. Это сколь же сил надо потратить — койку-то застелить, поберегла бы уж себя, мать бы с ей, с постелей, так бы полежала, один хрен вечером снова расстилать". И захотелось очень вдруг Захару Ивановичу что-нибудь сказать своей жене.

— Эй!

Матрёна подошла к окну, протёрла запотень, кивнула: дескать, слушаю.

— Ты пашто колун-то опять посередь ограды бросила?!

— А я ли это! Очурайся-ка.

— Мне и очурываться нечего. Не Бельмотрон же твой с ним гулеванил, а он, дак я ему башку-то живо отверну!

— Опомнись-ка! Кто, я, что ли, вечер на нём проволоку перерубала, а? — Матрёна взбила подушку и бросила её на кровать. От незаслуженного обвинения глаза Матрёны округлились — и так всегда, когда обидится.

Захар Иванович вспомнил, что вчера вечером на самом деле перерубал на обухе колуна проволоку на остожье, но услышал, как ругаются у Араниных, подскочил к щели в заборе, где и проторчал до скорых оумерек, а про колун так и забыл, увидев много интересного.

— Глаза-то не пучь свои лягушачьи. Уж ни в жись не признает-

ся. Морда бесстыжая. Это уж после меня, долго ли я порубил там. Запаятовала, дак так и скажи, нечего на других напраслину возводить. Привыкла всё на кого-то оваливать, — сказал так Захар Иванович и, уходя уже, добавил: — Носом в другой раз натыкаю. Сидит там, как раздрона.

Суша пыль на тропинках. Седа от росы трава. Тёмными следами избородил поляны скот. Пожелтело солнце, удержишь на нём взор — переливается игриво из жёлтого в зелёное, из зелёного — в фиолетовое. Гонит ветерок облачную завесу, наполовину освободил от неё уже небо, не заметишь, как очистит всё.

"Вспомнил, так-вашу-растак! И точно, что пелёночное".

Вспомнил Захар Иванович то, что не мог вспомнить в ограде, то, что вкатилось в его память маленьким шариком, шариком маленьким и выкатилось, а теперь вот вернулось орешком и расколосось, тайну обнажив. Трёх, четырёх ли лет странствовал он нагишом по задам отцовского двора среди огромных лопухов, лебеды и крапивы, и залетела ему под веко шипица репейная, да так глубоко, что ни отец, ни мать, ни даже бабушка вызвать её оттуда не смогли. Проплакал Захарка всю ночь, а чуть свет, запеленала мать Захарку, чтобы не тёр тот глаз ручонками, и понесла его к старухе Федотихе. Та языком и вытщила. А вот когда вела мать исцелённого Захарку домой, и был такой же точно туман, такой же воздух, такое же солнце и что-то такое же ещё, может быть, пелена на небе.

"И вспомнится идь такое. Мелочь экая. Не нарошно же вспоминал. Чё бы доброе не забыть, а тут... Ну, вот идь... где там и хранится?"

Быстро намокли носки сапог. Умышленно Захар Иванович шагал не по сухой тропинке, а по траве — для того, чтобы смочь налипшую на подошвы в огородчике глину. Оглянулся: след в две ленты.

"Скоро обыгает".

На тропинку сходить не стал: мокрые, уже чистые сапоги враз покроются пылью.

"Давеча дёгтем смазал — не потекут, а ежлив и отсыреют малось онучи, дак, один хрен, дома снимать, минута — и обсохли. Эх, винтовка-пистонка. Не побежишь уж босиком-то, Захар. Не нагишом уж — босиком. Не побежишь. Даже и за спор не отважишься, ну, разве что за пятьдесят рублей или за сто. И идь не потому, что есь в чём, а потому, что смешно будет: Захар, скажут, спятил — боси-

ком, как петух, по росе разгуливает. Аранин от хохота надсадится и из окна выпадет. Или околет на табуретке. И пусть бы околел. Убыток невелик. Чё-то ещё его не видно. Дрыхнет, небось? Задубел так, что и спицей-то проколешь не везде. Э-эх, сушесво-вешесво. Чей это кобелишко-то такой? Первый раз вижу. Наверно, кто-то из города привёз, тут бросил? Куриц с голоду давить станет и овец гонять. Хошь бы пристрелил кто, сдогадался. А может, чейный, кто, может, с пасеки привёл?"

- Пап-шёл вон! Ишь, хозяина мне нашёл! Много вас таких, - прикрикнул Захар Иванович, видя, как рыжий, малого росточка и неопределённой породы кобелёк холуйски завиллял хвостом и вьюном стал было к нему приближаться.

- Дак как жа! Но! Иди, иди отсюдава! Ш-шить, холера! Я вот тебя!

Кобелёк развернулся и, оглядываясь изредка, побежал впереди, то и дело отмечаясь на столбах.

"Хитрая тварюга. Вроде как-будто и ничего, вроде так оно и должно: будто и бежит со мной от самого дома и выскочил со мной как-будто из моей ограды. И покормил его я только что как-будто. Примазался. И люди есь такие же, да и почище: его гонишь, а он сидит как ни в чём не бывало да ещё и денег в долг просит. Аранин тот же, далеко ходить не надо. Пока, наверное, в руку наглуб не харкнешь, не дойдёт до него. Ай, и дойдёт, дак виду не покажет".

- Давай, давай, пакось, шуруй, Шакал. Нахалюга. Так ты меня и омманул. Пооглядывайся мне ещё! Палку-то живо подберу да отделаю как следует...

"А эта ещё куда о верёвкой в рань такую? Уж не давиться ли? Опять, наверно, корову свою потеряла? Век друг дружку и разыскивают: то её корова, то она корову. Обе по боталу бы прицепили - и маяты никакой", - подумал так Захар Иванович и ухмыльнулся - понравилась ему его идея.

Навотречу, держа в одной руке верёвку, в другой - ломоть хлеба, шустро перебирая кривыми, будто нарочно выгнутыми ногами, обутыми в большие, не по размеру, обрезанные под калоши, резиновые сапоги, катилась Пазухина Клавдея Пахомовна. Не то за то, что ноги колесом, не то за тот манер, каким она передвигается по земле, кто-то когда-то обозвал её "Мотоциклом", затем прозвище уточнили, и с тех пор: Клавдея - в глаза, а за глаза - "ИЖ-49".

Света белого не видит Клавдея Пахомовна, запыхалась. Потому и говорит будто реже, чем в спокойные минуты, а в спокойные минуты "ни рожна, ни язвы у Ижа не понимает" Захар Иванович. Часто уж слишком, без пауз, экономя на целых слогах, говорит в спокойные минуты Клавдея Пахомовна.

— Ранёхо, здорово, нынче, Захарванныч.

— Здорово. Да и ты, гляжу, не больно запозднилась.

— Да с моей лихорадкой-то, осподи, запозднишься рази, — не стоит — пританцовывает Клавдея Пахомовна. — У вас в околотке ниде не видел? Вот холера-то проклятуша, а! Стельна же, дура бестолкова, ни сёдня-завтре отелится... ох! Вечор как путню на пригон выгнала, сена как доброй дала, подсолила, ешь, говорю, матушка, отдохай, готовься, милая, к отёлу, а она, морда нахальна... Утре встала, дай-ка, думаю, проверю, как сердце прямо чув... Ну дак как жа! Не коровёнка, а сучка кака-то... простиосподи. Не бывало у меня ещё такой. Заворины рогами разметала — и дёру, дай бог ноги. Ищи таперича... Трётся, наверно, где-то об быка, блядёшка.

— Сама явится. Чё ты за ей бегать будешь.

— Как жа, дождёшься! Явилась — не запыхалась. Кабы нормальна-то была. У всех коровки как коровки, а тут всё не как у людей. Ох найду, ох исховаю, срамовку, — и покатила Клавдея Пахомовна дальше, вглядываясь в улочки, заулочки и в окрестные косогоры.

"Ну, Иж-Сорок-Девять, ну, мать бы её. Пашто коровы-то у неё всё такие бегучие? Вроде уж и родоу меняла, один хрен, рога в небо, глаза вытарашат — и в лес. Стельна-нестельна... И медведь их не дерёт... аадерёшь такую... Правду говорят, какой хозяин, такова и скотина. Дак иди, видно, передаётся как-то? То ли чё через руки как, то ли через глаза... а может, от рожденья так: смотрит, смотрит на хозяина — и подстраивается? Бык вон у Аранина, дак вылитый... А это кто ещё такой там?"

Захар Иванович подходил к брёвнам.

С незапамятных времён в деревне Шелудянка, Исленьского края, Бородавчанского района, Козьепуповского сельсовета, на берегу речки Шелудянки лежат ошкуренные брёвна. Содранная с них кора успела превратиться в груды трухи, удобрившую землю и не один раз на день перетряхиваемую шелудянковскими рыбаками, разыскивающими в ней червей. И надо сказать, что напрасно они там не копа-

ются: любит червяк сырые, прелые места. Вряд ли какой житель Шелудянки и помнит, кто, когда и зачем приволок сюда эти бревна. А приволок их сюда на тракторе Шелудянкин Петро лет пятнадцать назад для строительства моста. И если бы пятью годами позже, на Пасху, Петро вместе с трактором не утонул в Яланском озере, спустав его со своим покосом, а тальниковый остров приняв за зарод, он бы забыть не дал. Как раз напротив брёвен восемь лет назад в дно Шелудянки была торжественно вбита первая свая, а года через три после этого — другая. Более позднюю во время последнего ледохода вымыло и унесло, а ранняя, хоть и сильно накренившись, так и стоит, кого успокаивая своей сопротивляемостью годам и стихиям, а кого и пугая — пугая тем же самым. Какой-то повеса нацепил на неё июньской, вероятно, белой ночью, когда отогревается земля, а дыхание перехватывает черёмуховым удушьем, женские трусы, увенчав таким образом немую сваю, как триумфальную колонну, трофеем в память о победе подвернувшейся. И теперь, сидя на брёвнах, мужики нет-нет да и поспорят о том, какого размера этот трофей. В первое лето их появления, когда трусы ещё не выпвели, мальчишки, преодолевая буйный стрежень, подплывали к свае и после этого утверждали, будто видели на них этикетку с китайскими буквами. Некоторые мужики этому верили охотно, другие, сомневаясь, отвечали так: поди-ка, мол, попробуй различи с воды, какие там буквы — китайские, японские или немецкие, — хотя, чёрт его знает, глаза-то у сорванцов острые, может, и вправду разглядели. Словом, картина на берегу Шелудянки и без моста далеко не унылая. Летом народ обходится бродом, что чуть ниже, по которому даже курицы переходят на другой берег поклевать коноплю, к зиме Шелудянка покрывается прочным льдом, а во время половодья от переплывщиков отбоя нет. Так что нужды особой в мосту нет. Зато мужикам есть теперь где коротать половину летнего времени. Тут вот, на брёвнах, шелудянковскими и захожими мужиками споро решаются самые острые вопросы внутренней, внешней и семейной политики.

Поднявшись в субботу в пять часов утра, Правощёкин Тарас Анкудинович пообещал жене "спалкать обудёнкой" и пешим ходом отправился в Бородавчанск за известью. В городе, возле бочки с пивом, Тарас Анкудинович повстречал нечаянно-нежданно своего однополчанина, которого не видел — шутка ли — три месяца, и, в гости

хряки гуляют, что своими глазами его видишь, а ушам своим не веришь. Калитку ему откroвьшь, так он уж входит-входит, входит-входит, ну, думаешь, язва, когда же он закончится. Ты уж поверь, Тарас, однополчанину. Тёща однополчанина гуторила, что если взять его, хряка, да связать в лежачем положении и кормить так, то до трёх метров некоторые подлещи дотягивают. Да ну, уж она, однополчанин, и наскажет, — обмирает Тарас Анкудинович. А уж поверил бы, поверил. Если только тёща, та тут наплела что, но не он, не однополчанин, да и тёща у него баба такая, что языком зря молотить не станет. Слово у тёщи — рубль, а два — червонец. Они как-то с женой, без ребятишек...

Но Тарас Анкудинович уже не слышал своего однополчанина. Перед его глазами предстала родная ограда. Жена открывает ворота и зычно зовёт: "Боря! Боря!" А Тарас Анкудинович смотрит в окно и ждёт. И в воротах показывается огромная харя с огромными ушами, бороздящими землю. Вот харя скрывается в хлеву, специально выстроенном, а задних ног и хвоста так и не видно. Тогда Тарас Анкудинович забивает трубку, прикуривает и переходит к другому окну, переходит и обнаруживает, что вся улица забита народом. Мужики стоят, насупившись, пальцы в злобе кусают, а бабы руками всплещивают, ахают, глядят с презрением на своих мужей и, еле сдерживая стон зависти, говорят: "Ну и Тарас, ну и специалист. Вот ведь этот Тарас, всегда он чём-нибудь да учинит". А вот вам, бабоньки, и Тарас... "Тарас, Тарас, а Тарас, ты бы хоть закусил немного..." бы, мол, хорошему человеку, как говорится, и дерьма не жалко, только вот маленького-то нема, всех расхватали, с руками-ногами, с копытами, можно оказать, вырвали — матка послед ещё съесть не успела. Есть, правда, двухмесячный кобанчик, а за эти, следы сюда, мол, два бессонных месяца в его столь было впихано корму и комбикорму и просто денег, столь туда здоровья и трудов было положено, шо... Да не жмись, Василь Палыч, не жмись, дескать, продавай двухмесячного, чёрт бы побрал его, за такого и деньгами не поспешишься. Да что уж тут окупиться, ты его, однополчанина, послушай, видывал он, оказывается, таких, ты уж, Тарас, поверь ему, видывал он такую породу и не только у него, у соседа. По два метра в длину, как крокодилы, бываю. Он как-то с бабой и ребятишками на Украину к тёще в отпуск ездил, дак там, парень, растакие

заванный им, просидел у него дома остаток субботы и всё воскресенье. А случилось так, что за одним с ними столом всё это время провёл и сосед однополчанина Заклёпа Василь Павлович, безумолку толковавший про кобанов, свиноматок да про поросят и о том, как "по идее следовало бы любезных" их выращивать. Тарас Анкудинович слушал его и диву давался. "Слушай, слушай, что человек вещает", — только и твердил однополчанин. А Тарас Анкудинович только и спрашивал: "Как же это ты, Василь Палыч, позволишь мне допытаться, умудряешься?" — "Шо как, шо как. Да очень просто. Я его, выродка, будь чуток и следи сюда, оажая в хлеув, кормлю его, как дорохохо хостя, а посла, следи сюда, шоб вынуть его оттуда, шо делаю я, шо б ты подумал? А-а, то-то! Хлеув разбираю. Шо как. Вот тебе, хлопчик, и шо как". — "Да как же так-то, — спрашивает ещё больше удивлённый Тарас Анкудинович, — я вот своего — хоть закормись, а, один хрен, его хребтом дрова можно пилить". А у Тараса Анкудиновича, оказывается, следил бы он туда, порода свинная не та, какую путёвому хозяину уже давным-давно завести трэба. При чём путёвний-то тут, было бы откэль, дак давно бы и завёл уж, дескать. А ему, Тарасу Анкудиновичу, слушать, слушать надо, ноо-то воротить ему негоже, мол. А шо откэль, оказывается, шо откэль-то? — покупай, дескать, — и всех делов-то. Да где, мол, у кого, в магазине же таких не продают! Да у него, у Василь Палыча, и покупай, мол. Да, дескать, дорого же, небось? Хэ-э, а шо, мол, нынче дешёво! Воздух разве, да и тот — пока. Зато зараз, следи сюда, мол, и окупится. Да, продавай, за чем же, дескать, стало! Да и продал

В воскресенье, около полуночи, двухмесячный боровок уже плакал надсадно в тёмном мешке над своей судьбой. В два часа ночи Тарас Анкудинович, спрятав в карманах магарыч — подаренные Василь Палычем две бутылки подкрашенного под-коньяк самогону, взвалил на плечо мешок и прямой дорогой, зимником, через Шелудянку, подался на Козий Пуп. В пять часов утра он, миновав вброд речку, уже отдыхал на брёвнах и разглядывал висевшие на свае трупы, силясь с похмелья представить носившую их когда-то хозяйку. Рядом с ним, возле бревна, лежал и нет-нет да и оживал изредка холщёвый мешок, дёргался судорожно и оглушал утреннюю Шелудянку противным, горьким визгом, на который даже самая последняя, брехучая собака в деревне отвечать гнушалась.

В десять часов утра в прибрежном тальнике километрах в двух, вниз по течению, от брёвен, удобно устроившись на песке, сидели Захар Иванович Шелудянкин и Тарас Анкудинович Правощёкин. Расположившись неподалёку, под разлапистой талиной, азартно почёсываясь и сердито поскуливая, давил, клацая зубами, блох рыжий кобелишка. Искося при этом поглядывал рыжий кобелишка на своего нового хозяина, на его приятеля и на мешок, который тот положил подле себя. На высокую, лысоватую от старости ель, что стоит, накренившись, на противоположном берегу Шелудянки, прилетела ворона. Ветка, на которую опустилась любопытная птица, закачалась. От ветки отскочила взъерошенная, отсемяннившая шишка, упала, легонько коснувшись воды, и, подхваченная слабым током плёса, медленно поплыла. Захар Иванович проводил её взглядом и решил нарушить молчание, затянувшееся было после второго стакана, а по правде сказать, не стакана, а тщательно спососнутой банки из-под червей, оставленной каким-то рыбаком.

- Тарас, вот как ты думаешь: ежлив связать много-много - уйму - шишек в такой вроде как ковёр-плот, можно будет на ём сплавить двухпудовую гирю? Или нет?

- Нет, - не думая, ответил Тарас.

- А почему? - рассеянно глядя на плёсо, спросил Захар.

- Да потому что, и дураку ясно, прогнётся и вместе с гирей уйдёт ко дну.

- А ежлив под него жердей подстелить?

- Тогда уж лучше просто на одних жердях. Зачем тебе ещё и плот вязать из шишек? Один хрен, что из иголок или булавок бульдозер мастерить.

- А я вот чё-то думаю, ежлив уплести их рядов этак в двадцать-тридцать, то и самому можно спокойненько куда угодно сплавиться.

Тарас Анкудинович не любил воды большой, боялся её, и потому, возможно, нервно передёрнулся.

- Вы, шелудяницы, стой же на яланцев, чудные какие-то - всё вас пашто-то думать тянет, так и свихнуться недолго - та же ведь надсада. У нас вот один мужик, приезжий, правда, свихнулся, парень... моментом, да, за будь здоров.

- Как это его так угораздило? - поинтересовался, оживившись

вдруг, Захар Иванович.

— Тут, Захар, с самого начала надо распетрошить, а с конца — это... как к бутылке вроде с доньшка вон подбираться. Ну, да одна язва, коли язык уж развязало... Есть у нас баба, Танька Правощёкина. У Таньки девка есть, в молодости нагулянная. И приехал к нам один вербованный, в возрасте уже, крови, похоже, что не нашей — оттуда откуда-то, из песков. Значит, сносится он с Танькой и сходится чуть погодя. Танька рада-радешенька, что мужик у неё теперь, хоть и не наш, не козьеуповский, но бабам-то... мужик — и ладно, чё вроде есть, хоть маленькое, но при ём — и хорошо, и что по закону все, как у людей — уж это главное. А девка в семье класс ходила. Ну вот, в первую ночь не спит вербованный, не спит Танька, и девка её не спит, подглядывает из своей комнатёнки и подслушивает — вместо стенки-то у них две занавески, пальцем отодвинул чуть и... А дня этак через три-четыре уходит Танька на ферму, значит, вербованный возле бани дрова колет, а девка в бане шукой плещется. Плескалась-плескалась да и стучит в окно, дескать, иди-ка, тятя, спину мне потри. А мужик-то этот тихой уж шибко — и повиновался. Ну и как, а так, как надо — через девять месяцев, день в день, рожают бабы по сыну. И всё вроде ладно — и бабы смирились, и народ поутих, а мужик этот и давай думать, кто из них кому кем приходится. Он будто этим мальчикам отцом, мальцы вроде ему сыновьями. А вот Танька дочкин-му сыну — тёткой или бабушкой, и девка эта материному сыну — сестрой или тёткой, и ребята эти меж собой — то ли братья, то ли дядя с племянником? Да и для самого она, девка — не то падчерица, не то жена? Как дойдёт до этого в своих разборках, и ну головой об стену, лупится, лупится, а один хрен, распутать не может. Вот и — баста! — скovyрнулся.

— Нашёл о чём думать, тоже мне. Сами бы разобрались... Хе, а действительно, Тарас, он-то одному вроде как отец, а другому — и отец и дедушка, да? Так ведь?

— Э, нет, нет, Захар, давай-ка о другом, — передёрнув плечами, перебил Тарас.

— Ну давай, — согласился Захар, на мгновение задумался, а затем сказал: — А всёж-таки хорошо мы сделали, что сюда пришли, а то, сам понимаешь, народец у нас в Шелудянке такой — оторви да выбрось, кто-нибудь бы обязательно пристроился: Тот же Аранин,

а от Аранина отвязываться что от мухи — пока промеж глаз не треснешь как следует, не отстанет, ага... — кивнул Захар Иванович, а через какое-то время продолжил: — И чудной же всё-таки мужик он. Как-то, в июле ещё, приезжает из города весёлый-развесёлый, словно пенсию ему дали вдвое против обычного или орден за пьянку вручили. На брёвнах народ: в чём, Саня, дел мол? Пижак, говорит, задарма купил, за тринадцать рублей, почти что ненадёванный. Точно что, пиджачишко на ём, в каких бабы за ягодой ходят. Радовался, ликовал, в доме-то будто свадьба месяц гужевала, денег на обмывку дарового товара по всей деревне на-займывал. Обмыл. И знашь, во сколь ему обнова эта выскочила?

— Ну?

— Да не в ну, а в двести рубликов. Тёлку на мясокомбинат свёл, чтобы с долгами расчитаться. А мне, пацла, до сей поры пятёрку не отдаёт, на глаза-то всё никак не попадётся, будто сдох, так бы и подумал, ежлив бы "концерт" его вчерась своими ушами не услышал.

— Да-а, — скорее вздохнул, чем сказал Тарас Анкудинович, про известь вспомнив и про поросёнка. — Каких только земля наша не носит.

— И всё-таки смешно, — сказал Захар Иванович.

— Чё смешно? — спросил Тарас Анкудинович.

— Да то — откэль ты знашь, что девка Танькина спала за занавесками-то, за двумя?

— Да брось ты.

Солнце бежало к своему зениту. Рыжий кобелёк мышковал, с визгом то исчезая в норе по грудь, то выбираясь на свет и виновато озираясь грязной мордой: мол, пока нет, но, один хрен, я её, мышку, добуду. Совсем уж редко похрюкивал и дёргался мешок. Ворона, всё разузнав и пронюхав, покинула ель и полетела, вероятно, по подружкам. Место её занял дятел. И уж тут в Шелудянку посыпалась кора, труха и шишечная шелуха. А мужики пили самогонку, дивились каждый про себя прочности дятловой головы и никуда не спешили.

— У этого, наверно, и похмелья не бывает, — сказал Захар Иванович.

— У дятла, что ли?

— Но.

- А-а. Да, этот не свихнётся - мозги на "сотки", видно приколочены.

- Тарас, ты скажи-ка мне, где население больше, в Ловощёкино или в Правощёкино?

- А всё как-то поровну держалось. Да вот, девка моя, Любка, на сносях, если за эти дни не родила, - обгоним, может... Правда, говорят, в Ловощёкино тоже одна баба в положении ходит и вроде как наизготовке. Всё как-то поровну: там две тысячи и у нас столько же. Ну, когда в одной деревне кто-нибудь помрёт, другая на время перегонит, пока в ней то же самое не случится.

- Ну, дак это ладно ещё. А у нас вон они скрыпуны остались. Скоро всех позади оставим! Ялань уж како село было, волостное, дак и там, поглядел, бичи одни ородят, а коренных-то - раз, два, три - да и обчёлся. А Евсевий-то ваш жив, нет ли?

- Наш или Ловощёкинский?

- Да тот-то, знаю, что живой, а ваш, глухой-то?

- Живой. Чё ему? Тут с ним нынче внук, или правнук уж он ему, шутку отмочил. Евсевий спит на лавке, а тарай свои возле всё ставит. Налезится, ноги спустит, в тарай всунет - и двинулся. Так-то как пень глухой, а когда спит, там хоть в ухо дуди - глаз не откроет. Ну, а внук, или правнук, взял да и прибил тарай к полу. Евсевий проснулся, сел, ноги в тарай, поднялся, пошёл - и головой-то аккурат в таз с ополосками.

- Хэ-э-хэ-хэ. Ну, жиганьё. А сколько ему лет?

- Да уж девяносто-то с лишним, если не все сто.

- Да нет, мальчонке-то?

- А-а, тому-то лет десять, наверное, двенадцать.

- Вот чё утворяют варнаки. Дед-то не захлестнулся хошь, упал-то не дошеверёдно?

- Нет. Жилы только на ногах потянул да нос расквасил. Месяц, однако, не на ходу был - внучёк его на тележке по ограде выгуливал. А уходи вот в субботу утром, часов в пять, гляжу, опять на лавочке, возле дома, сидит. Может, конечно, с вечера ещё его увезти забыли?

- Да-а, - протянул Захар Иванович. И оба надолго уставились на водную гладь Шелудянки.

Но через четверть часа от затянувшегося рассеянного созерцания отвлёк их мешок, вернее, поросёнок, почти сутки из мешка

не выглядывавший. Собрав в свои поросычьи лёгкие воздух, какой только можно было в мешке собрать, боровок заголосил и задёргался. И тут же мужики, как по команде, с водной глади перевели взгляды на мешок.

- Тише, зараза, Аранина наведёшь - он же разведчик бывший!
- вострепнулся Захар Иванович и тут же поинтересовался: - А где, у кого ты такого громкого отхватил?

- Да у Заклёпы, у Василь Пальча. Слышал про такого?

- Нет, не доводилось.

- Известный свиновод. Говорит, порода какая-то особая, до двух метров в длину дорастают, правда, напоследок, когда бутылки эти всовывал мне, по секрету сказал, чтобы ни в коем случае нашим именем не называл, а то до обычного дотянет и остановится.

- Да?! Смотри-ка ты. А почему это так-то вот?

- Не знаю. Сказал так да и всё, а объяснять не стал, а мне и спросить-то вроде неловко было.

- Э-ка, Тарас, а ты послушай, может быть, так оно и есть. Ты яланского бригадира, Ваську Плетикова, Серафимыча-то, помнишь?

- Ну как, помню, конечно. Мы с ним вместе на Дальнем Востоке были. И демобилизовались в один день. Как не помню. Помню, помню.

- Так вот, послушай, у него есть кобелина, ей-богу, с телёнка доброго ростом. А назвал он его Гитлером, причём, пахла, и мордой фюрер вылитый. Чё-то, видимо, есть в этом. Натура, может, ихняя меняется, под кличку подлаживается? А Гитлер-то, как говорят, два метра с лишним ещё был.

- Ну, зря же врать мужик не стал бы, - оживился Тарас Анкудинович, будто до этого сам сильно сомневался, а тут поверил окончательно. - К тому же уж и пьяный выболтался, трезвый-то бы был, может быть, и скрыл бы. Сейчас, наверное, жалеет, если помнит? А я вот и думаю теперь, как бы мне паразита этого по-нашему-то окрестить?

- Хм. Дело нешуточное, - и в небо посмотрел Захар Иванович.
- Да-а, - протянул, - ну и задачка. Все имена-то из башки как будто ветром разом выдуло. Какое ни возьми, всё вроде наше... Парень, а назови-ка Евой Бра... а, у тебя же боровок?

- Да.

- А боровок, дак тогда проще. Назови его Муссолиней.

- Да ну уж, скажешь!.. борова Муссолиней называть... долго как-то.

- Долго, это точно. А, во-о, Берия. Боря - Берия... нет, это совсем уж по-нашему. Подошло бы вроде, с другой стороны, борову мудрено будет разобраться, наше это или не наше. Слушай, а назови ты его Фрицем. Фриц! Фриц! Фриц! Удобно и уж так не по-русски, тут уж любой пень донетрит.

- Фриц! Ну, Фрицем куда бы ещё ни шло, только баба не согласится, по-моему, ни за какие деньги так называть не станет - сестра её в Ялани замужем за немцем...

- Ну не станет - не станет. Пусть зовёт как хочет, а ты втихаря зови так и почаще старайся, всё, может, хошь наполовину больше вымахает.

- Ну ладно, попробую её уговорить. Фриц, так для всех - Фриц, а то и знать толком не будет, как его и зовут, и... жалко другую половину, на которую не вырастит.

- Да уж, это, конечно, не дело. Скотина, она тебе не бревно какое. Скотина должна имечко иметь и назубок его помнить - не зверь дикий, среди людей живёт, а некоторых ещё и поумнее будет... есть такие... Не грех бы ей и фамилию давать, тут и по хозяйну можно. Правощёкин, например, Фриц Такоевич...

- Но, или Шелудянкина... как её там... Зорька Захаровна.

- А ты, Тарас, вон чё, ты радио-ка послушай, там только каких имён не передают, иной раз услышишь, а после месяц мозг мозолит... как прилипнет.

- А-а, то ли приснилось мне, то ли и в самом деле Заклёпа говорил, будто умная она шибко, свинья-то, если бы не копыта...

- А копыта-то при чём здесь?

- Да Заклёпа говорил, будто руль в ракетах ещё для копыт не придумали, а так бы она, парень, давно, вперёд собаки, в космос бы слетала.

- А-а.

- Говорит, башкой-то всё понимает, а ухватиться нечем. И ещё он - болтал, нет ли? - говорит, если бы не копыта, она давно бы уж палку в руки взяла и, чёрт знат, кем бы уж к этому времени стала, не мы б её - она нас на мясо бы держала.

- Да-а, интересно... Интересно, Тарас, если мы, люди, от

обезьяны приходим, то она, засранка, от кого?

- А это, парень, у Заклёпы бы спросить, тот шибко дошлый в этом деле.

Так беседовали Захар Иванович Шелудянкин и Тарас Анкудинович Правощёкин. А солнце, уже на юго-западе, готовилось скрыться в тучи. Свет слегка померк, в лесу сделалось прохладно. И мужики, спохватившись и забеспокоившись, к тому же всё допив, стали собираться.

У развилки дорог Захар Иванович и Тарас Анкудинович остановились и сели перекурить. Первый достал папиросу, а второй набил и раскурил трубку.

- Дак ты, Тарас, хошь бы машины обождал какой, ли чё ли. Не пешком же эку даль с этим космонавтом шлёпать.

- Нет, парень, я теперь на машинах не ездук. Лучше уж пёхом, оно спокойнее, к утру, глядишь, и дошагаю.

- А ты пашто так-то?

- Да так.

- Дак чё?

- Дак чё. В прошлом годе я тоже как-то, об эту же пору, да же число помню, тринадцатого сентября, когда Нордэт на грейдере-то помер... да знашь, наверное, слыхал... взял в городе поросёнка, словил по дороге попутку, МАЗ этот, у которого кабина больше, чем моя изба... или не МАЗ... да хрен бы с ним, попутка - и попутка. Сел туда вместе с поросёнком. Тоже уж большенький был. Только наш, того хоть как называй, всё равно... заморышем и сдох бы. Ну и вот. Сидим. Едем. А перед мостом через Щучку колдобина. МАЗ этот в неё - долбануло, а поросёнок у меня с рук да шофёру на руль. Тот: а-а! - а машина с моста да в речку. Я-то с горем пополам выбрался, хоть и плавать не умею, сел на колесо, а поросёнок до сих пор в Щучке воду где-то рассекает, сети рыбакам рвёт, если уж в просторы океанские через Ислень не вырвался да в акулу не превратился или в лодку подводную. С того дня, парень, зарёкся, теперь меня на машину силком не затащишь. Лучше уж пёхом - оно спокойнее... дак чё.

- Хэ-хэ-хэ. Ты мне чё-то, Тарас, тоже историю одну напомнил. У нас тут старуха есть, Клавдея Пахомовна, знашь, может, Мотоцик-

лом её ещё зовут. А у неё баранишко был, бодучий уж шибко, редко такие рожутся, хошь и имя нашенское носил, смиренное — Тихон. Где только Клавдея, бывало, ни наклонится да ни обробет, а он, зараза, тут как тут, вылетит да бодалами своими со всего маху ей в задницу — бум! Она уж, грешным делом, хошь и до кого коснись, дак... как управляться-то идти, так подушку сзади в трусы подпихивает. Дак чё, беда заставит. Ладно, с тылу вроде обезопасилась, а голову-то и под подушкой не спасёшь, а каску мотоцикольную, посоветовал ей кто-то, из-за прозвища своего надевать отказалась. И вот, решила Клавдея избавиться от этого бойца. Вывела его на дорогу и тоже, на тебя же стой, думат: машину, мол, попутную поймаю. Едет самосвал — Клавдея руку — останавливается. В кабине паренёк, спрашивает: куда, мол, бабка? Да вот, говорит, в город, бандита этого шельмованного, шарамыгу эту, бича этого проклятуще-го сдать. Ну садись, бабка, только в кабину-то нельзя — врёт ей, значит, — милиция, дескать, запретила старух в кабине возить. А мы, говорит Клавдея, не велики баре — и в кузове нам ладно будет. Так-так, давайте, дескать, оба в кузов, барана привяжем, чтобы не выпрыгнул, а ты, бабка, говорит, ложись, вытянись и — чтобы носу не высовывать! То подведёшь, мол, и прав лишат моментом. Привязали барана, Клавдея распласталась в кузове, не дышит — поехали. Куда едут, ума не приложит, не видит Клаша, чувствует только, что дорога изменилась, трясти уж шибко стало. Ну, думат, напрямую где-то или грязи ли какой в объезд. А тут и замечает: то ли что такое, то ли в крутую гору стали подниматься. Лежит, не шевелится. И поползла, и поехала вон из кузова, руками цепляется, да было бы за что. Шлёпнулась в лужу, глаза грязью залепило — не различит ни рожна. А когда шары-то проскребла — красенькая лампочка мигнула за ёлкой и исчезла. Какой-то охотник потом её, Клавдею-то, из леса вывел. Да, говорит, не застрелил маленько, катится, говорит, на меня чё-то чёрное, только кусты трещат. Парень-то этот в кузове не то уголь возил, не то асфальт. А дома корова с ног сбилась, извелась — трое суток недоёна была, всю деревню наскрозь проревела. Вот чё, парень, ишь ты как.

— Да, Захар, каких только земля наша не носит.

— Да, парень... Да, парень, — повторил Захар, чтобы послушать свой голос. — Да я же, Тарас, пьяный.

— Да не диво. В ней ведь, в холере, градусов девяносто,

не мене.

- Да-а. Ежлив не боле. А я, Тарас, до сорок пятого ведь эту гадось в рот не брал. Ни капли.

- И на фронте не пил? - удивился Тарас Анкудинович.

- Да считай, что и не пил. Не баловался. А как получилось-то. Двадцатого числа мы Варшаву польскую проходили. В одном доме постучались - не пускают, в другом - то же самое. Плинули. А тут площадь небольшая, мощёная, как в Риге - видел... Решили заночевать прямо посередь её. Нашли бы чё другое, пустой бы дом где, дак устали шибко. Расположились, костры из всякого хлама развели. А я, чё-то мне понадобилось, в мешок полез, наклонился, шарю в ём. Ноги-то мне, чуть ниже задницы, и обожгло... стегно-то сзади. Хошь бы в бою уж где, дак так бы не обидно, да и место-то такое - задница, сам понимаешь, поиздевались в госпитале же, сёстры - и те хихикали. А это малец... развалины напротив... из автомата очередь пульнул. Кости-то не задел, так только, мякоть продырявил. Парнишка меня перевязывает, а ребята мальчика этого, поляка, лет четырнадцати-пятнадцати, выудили оттуда, на площадь выволокли - и давай его ногами да прикладами охаживать, злые - к концу война вроде, а тут... А мне бы хошь слово сказать, чтобы они отступились, так нет, смотрю, а рот - словно булавкой кто его мне застегнул. И порешили так мальчика, и сами-то очумели, когда заметили. А с госпиталя своих в Германии уже догнал, отдают мне письма. Читайте то, что от Матрёны, а она пишет, вот, мол, Захар Иванович, парень-то наш - первенец, меня призвали, он вскорости и родился - парень-то наш, пишет, двадцатого января ночью закашлялся, посинел и помер, так и откачать не могли, а двадцать второго, мол, и похоронили экого младенца. А я тут и мальчика того, поляка-то, будто вспомнил и увидел, да ясно так, и время-то сопоставил... Взял я, Тарас, у ребят спирту, кружку полную набуровил и выпил. Мне даже лейтенант слова не сказал, только поморщился, будто выпил он, не я. Хороший был мужик, погиб в Берлине десятого мая, сидел на лавочке - шрапнелью... Вот, парень, тогда-то я и понял, что есь Ано... там, в небе, како, уж не знаю, но есь. Тогда-то я его, крещение спиртное, вроде как и принял. Вот, с тех самых пор и потчую себя этой гадосью, выпил - и вроде как отъехал от всего. Дак чё, Тарас, мы ж никому не мешам. Ведь правильно?

— А чё не правильно-то! Нужно иногда. Один хрен скоро уж помирать.

— Ну, парень, помирать-то нам ещё рановато.

— А рановато, нет ли, одна язва... Подойдёт пора, нас не спросит. Может, сёдня, кто знат? А так-то оно, наверно, и лучше, и червякам потом веселее будет: закусят и попляшут — спирту-то в нас, поди, для них хватит... славно проспиртовались.

До своего родного дома Тарас Анкудинович добрался вечером, но следующего уже дня. В лесу, на первом же привале, надумал он, опасаясь, что тот, задохнувшись, сдохнет, выпустить поросёнка погулять. И, придерживая его, как начинающего ходить ребёнка, руками под брюшко, выпустил. Но засидевшийся боровок, глотнув свежего воздуха и увидев свет белый, затрясся, задёргался, а затем рванулся вдруг и так сиганул, что Тарас Анкудинович, не обращая внимания на разыгравшуюся вскорости стихию, где на слух, где заприметив в слабом свете ночи его матовую спинку, пробегал за ним по тайге до тех пор, пока не загнал его в трясину, откуда сам едва лишь выбрался. И кто знает, кто считал, сколько ещё времени, уже на твёрдом, обсыхая и обхватив голову руками, сидел Тарас Анкудинович и смотрел в упор на злую топь, поминающую поросёнка бубнящими пузырями и болотной вонью, сидел, смотрел и думал: "Ох уж если бы, зараза, не копыта... если бы не копыта... если бы не копыта, мать твою, а лапы, тварь бы эта хрен утопла".

А ничё, они ещё, родимые, ходят. Вон как они по тропинке-то вышагивают. На травку иногда заскочут, правда, но ведь этого, парень, не миновать. Нет, никак, брат, не минуешь. Они и в добром-то здоровье нет-нет да и забегут куда-нибудь. Вон они как, вон они как. Раз, два, раз, два... оп-па! И этого, парень, не миновать... где упадёшь, дак там и... ох, мать честная! И пошли, и пошли, и так, и вот так, и вот как. А как она петляет под ногами быстро, ну прямо вьётся, как змея. А ты костыляй давай, рыжий шакалина. Шакал. Шакал? Нет, не Шакал. А Чемберлен. Ты у меня Чемберленом будешь. Вон с ту корову вымахает. О-о! Мотоцикол! Их-Сорок-Девять! Нашла, оказывается, свою блудницу. Ты, Клавдея, пашто себе и ей по боталу-то не привяжешь? Ага. И красота: искать друг дружку легче. Поругайся мне ещё. И у- слова ей сказать

нельзя. Мадам какая, ты смотри-ка. Давно такой ты стала? Я же не виноват, что у тебя ноги, как обруч ст бочки, не я же их загнул тебе... А у меня они вон как ровненько. Э-э! Любо-дорого. Оп-па! Знал бы где упасть, там бы соломки... Чемберлен, подсоби хозяину. С хозяином-то тебе, парень, повезло. Не надо, сам обойдусь, не надо морду мне облизывать... и руки тоже. Вот пыль со штанов языком смахнуть можешь. А домики-то пролетают - как на поезде еду. Ду-ду-ду, чих-чих-пых. Свой бы как не пролететь в горячке да на станции другой не заночевать бы. Нет, вон он, мой палисадничек, вон он, мой скворешник. Как телевизионная вышка. Его, наверно, в ясный день в бинокль и с Козьего Пула видно. Надо Тарасу было сказать, чтобы посмотрел как-нибудь, а потом бы написал мне или передал с кем. Да у них, наверно, на всём Козьем Пуле не то что бинокля, но и увеличительного стекла-то не отыщешь днём с огнём. Они про него и слыхом-то не слыхивали. Эй, Шакал, или как там теб! Твой тёзка, Чемберлен-то, вроде тоже рыжий был... Свой ворота не узнал?! А ещё собака называется. Я человек - и то мимо своих ворот никогда и ни за что не промажу. Э-эй! Матрёна! Ты это чё, постель уж расправляешь?! Матрёна! Эй! Ты чё, оглохла?! Баба! А?! Чё, на меня не хочешь и взглянуть уж?! Да?! Кане-е-еш-на-а! Где нам - в лаптях-то да с соплями по обшлагам против вашего. Не чета-а. Принцесса! Где уж мне, мужику-то простецкому, только и осталось что тюрю лаптем понужать да на пол не накапать. Думаете: сдох бы уж поскорее - так, наверно. Не путался бы, дескать, под ногами. Хлеба бы у вас лишнего не поел. А я, девка, не их тех. У нас тоже, матушка, своя гордость есь. У нас, у Шелудянкиных, разговор короткий. В ножках у вас, Митрофановских, никогда не валялись. День лишний выклянчивать не будем, не надейтесь. У нас, у Шелудянковский, ба-бах - и в рыло!

Захар Иванович вошёл в ограду, придерживая ворота, пропустил вперёд рыжего кобелька, пнул попавшего под ногу, ошестинившегося на пса Бельмотрона, матюгнув его, и направился к амбару. В амбаре он снял с гвоздя старую телогрейку, вышел было, но вернулся и достал с полки кожаную, обшарпанную шапку. И шапку, и телогрейку, пройдя в огородчик, он бросил в яму вырытого им погреба. Затем сходил к бане за лестницей, по которой спустился в погреб и сам. Лестницу вытолкнул наверх, но так, чтобы потом, слегка подпрыгнув, её можно было бы достать. Расстелив телогрейку-

ку и натянув шапку, Захар Иванович вытянулся в яме и сложил на груди руки.

Аминь, Захар Иванович, аминь, батюшка-свет-ясны-очи-трезвая-головушка. Я вас, голуби мои, обременять не собираюсь, я у вас, сизые мои, на шею сидеть не стану. Только ведь вы пово-о-оете без меня, напла-а-ачетесь ещё, только поздно ведь, миленькие мои, будет, ох, по-о-оздно. Ближе будет локоточек, да... Скажете: это пашто же мы раньше-то не подумали, это пашто же мы так по-свински вели-то себя. А вот. Это вам не Бельмоотрон исчезнет из дому, а кормилец. Жаль вот, что Вовку с армии не дождался, не увижу парня, вот чё жаль. Ну, тот придёт, тот вам покажет, как отца родного в могилу вгонять заживо.

Захар Иванович огляделся: серое небо, коричневая глина.

А чё, и ладненько. Широковата только. Ну да земелькой закидают, утопчут - и в самую пору. Эх, надо было б ей сказать, чтобы тумбу не вздумали ставить - здесь вам не клумба, тут вам не место для верстового столба, здесь - могила! Пусть уж Аранина наймут, ему с долгами как-то надо расчитаться, пусть уж Аранин выстругает крест мне помудрёнее. Он, гад, наверно, только об этом и думат, и заготовка, небось, уж есь - лишь бы долг не отдавать. Надо бы-ло б крикнуть и ему. А пятёркою той пусть подавится, ага, или одеколону на неё закупит, нажрётся и сгорит. Ага, сгорит он - продубелый, его и в печке не сожжёшь. А эти... за огурцами в огородчик выйдут, а тут вот он - укор в глаза, за бутуном для крошки выскочут, а тут на тебе - крест и могила, а в могиле кто? - в могиле - мать честная! - уничтоженный отец собственноручно. В баньку отправятся, а тут...

Захар Иванович насторожился: хлопнула в доме дверь. По двору, звякая ведрами, прошла Матрёна - больше-то некому - она.

- Ой! Ой! Ой! Ой! - заголосил Захар Иванович. - Припёрлась смертушка! О-ох! Не ждал, не чаял, подкрала-а-ася и скрутила!

Матрёна поставила где-то ведра - под поток, вероятно, на случай дождя; проворчала что-то. И вскоре снова хлопнула в доме дверь.

Вот ведь колода старая. Ей даже подойти-то лень. Да и это когда я ещё тока помирать начинаю, а чё же после-то будет, когда я содохну?! Она, наверно, не потрудится и с койки встать, так и будет лежать, пока сама с голоду да от грязи не околёт. Вот бар-

жа дырявая. Вот, ребята, и жизнь у меня. Вот так в петлю надумаешь залезти, а она тебе ещё и верёвочку подсобит выбрать и место с крюком, покрепче где, укажет.

— Кто там всё бродит?! — закричал вдруг Захар Иванович. — Кто там мне помереть спокойно не даёт?! А, это ты, Шакал. Ходи, ходи, тебе можно, тебе дозволено, охраняй труп хозяина, следи, чтоб его раньше времени вороны не склевали. А лучше бы, конечно, сел ты там, парень, как-нибудь поудобней, спокойненько с краю да показал бы им, как надо Захара Иваныча оплакивать, поскулил бы пожалобней, до-о-олго так, будто бы всю родню свою собачью потерял ты разом, чтобы у неё и у Аранина волосы дыбом от стыда и страха встали. Не хочешь? И ты, падла, предатель, хошь и союзник по имени-то... Ну дак и хрен с тобой. Загляни хошь сюда, морда рыжая. Нет? Какая только сука тебя на свет выпустила. Удавить бы её ещё брехатой.

Надо было б шубу взять, хорошо ещё хошь, что куфайку прихватил. Вот ты холера-то где старая. И тридцать с лишним лет с ней прожил под одною крышей, войны ежлив не считать, это кому скажи, дак не поверит. А может, у неё тогда был какой-нибудь? Кто только, мужиков-то... разве что Аранин? Он же когда, в сорок третьем вернулся. Вот скотина. Прелюбодей-то где какой, а! Надо будет — плюнуть на неё, на пятёрку, всё равно не отдаст — напоить его на свои деньги как-нибудь да попытывать. Так, издали будто, прощупом. А можно и в лоб, чё терять-то: ну и как, мол, парень, а, Матрёна... в смысле этого... Да это чё я горожу-то! Я же их больше не увижу. Соберутся, собаки, пить будут, переблуются, а может, ещё и пляски при луне устроят тут, на свеженькой могилке. Мин подложить бы... Избу, ли чё ли, сначала поджечь, пока окончательно не помер? А-а, не-е-ет, мои друзья-ребята. Вас мне не жалко, вот Вовка вернётся — жить негде будет, негде будет парню приткнуться, некуда парню...

Задремал, закемарил Захар Иванович.

И вот, значит, идёт он по Шелудянке в новой кепке, а на встречу ему медленно, тяжело передвигается большой-пребольшой боров. На шее у борова сидит Тарас, правит за уши и смотрит в бинокль. Позади Тараса сидит его жена, за женой — зять, а за зятем, на крупе — дочь Тарасова — Любка, с грудным младенцем на коленях.

— С основой тебя, Захар, — приветствует друга Тарас.

— Да уж чё там, кака уж тут снова — так, кепка, — отвечает Захар Иванович. — Ерунда. Так, чтобы плешь где не надуло. А куда это вы направились, семьёй-то всей?

— А ежедневно так, Захар, ежедневно, ты уж не обессудь, уж как привычка. Прогуляешься — и вроде аппетит лучше. А тут ещё Генрих, — похлопал Тарас по боку борова, — всё луну смотреть наповалился, как вечер, так за уши от космоса не оттянешь, говорит, что родственники у него там остались.

— Добро, добро, — говорит Захар Иванович, — на чё худо бы вдруг не потянуло, а космос чё, космос-то пусь, — сказал Захар Иванович так и пошёл дальше.

И будто много времени протекло, в ту ли, в другую ли сторону. Мечется Захар Иванович по Шелудянке, то в один дом забежит, то в другой заглянет — нигде ни души, всё на своих местах в домах, а людей нет. И пора будто такая — солнце только что закатилось, птицы умолкли. Слепо. И во всём страх древний — не то перед ночью, не то перед днём грядущим, не то вообще — перед жизнью. И Захара Ивановича оторопь берёт. А ночевать где-то надо. В свой дом идти не может — там отчего-то вовсе жутко быть — так ему кажется. Зашёл к Аранину и улёгся на Аранихину постель. Спит будто Захар Иванович, спит — и слышит будто сквозь сон стук. Поднимается, открывает настежь дверь. Распахивается та со скрипом, с петель срывается и падает на землю. И уж изба будто не Аранинская, а замимка чья-то. Крутом поле, а вокруг поля густой ельник и смородинник с крупной, чёрной и рысней ягодой. И всё белым-бело от снега. А от крыльца медленно, не оглядываясь, удаляется кто-то. И какая-то неведомая сила тянет Захара Ивановича пойти за уходящим. Нет, говорит Захар Иванович, нет, я не пойду, а сам уж и с крыльца спустился, ступает босыми ногами след в след, смотрит в затылок уходящему и твердит про себя: нет, нет, нет, нет, я не пойду. Хочет остановиться, но не хозяин себе будто. И вроде как три облячка плывут с ним рядом: беспокойство, стыд и ужас. И вцепиться не во что: ни пня, ни куста, ни веточки. А мальчишка, поляк, голову поворачивает и говорит: "Идём, папа, идём". Сердце заходится. И уж ельник близко, а в ельнике, на смородиновых кустах, Господи...

Хватает Матрёна Захара Ивановича за воротник и кричит ему

в ухо:

— Да не сын он, не сын тебе, дурень!

— Вот, мать честная! — открыл Захар Иванович глаза, открыл и закрыл снова, так как подул ветерок и забил их пылью. — Вот, мать честная.

Квадрат неба — тот, что над ямой, — потемнел. Наверху, где-то там, в палисаднике, вероятно, шумит отжившими листьями берёза. А совсем близко, возле самой ямы, чешется сердито кобелёк.

И не подумат идь. Мужик тут с жизнью, со всем белым светом прощается, а она там, наверное, разлеглась на коечке и дрыхнет, за столом сидит ли и картошку с грибами наворачиват. Вот сущесво-вешесво. Да, парень, стояло тебе тогда слово хошь вымолвить: отступитесь, мол, ребята, он же младенец, чё творит, не ведает, — и всё, может, по-другому бы сейчас было. В потёмках был, спал будто, а потом вроде как посветлело — проснулся. Глядь, а он лежит посередь площади, глаза в небо тарачит и говорит мне: "А идь есь Ано там, есь, батя, не забывай уж ты об этом".

Сделалось совсем темно. Налетел вихрь и осыпал Захара Ивановича пылью.

Вот дурна-то где башка, дак уж дурна, пашто это я одеяло-то взять не сдогадался. Как было б ладно-то. Залез бы под него с головой — и помирай хошь неделю.

А ветер всё усиливался. Под слоем пыли да ещё и в стужившихся сумерках сверху Захара Ивановича не так-то просто было разглядеть.

Может, мух хошь немного разгонит.

Захар Иванович распустил у шапки уши и завязал тесёмочки под подбородком.

Сначала всё затихло. Слышно было даже, как ругаются в доме у Араниных. Тучи, казалось, подминали и пожирали друг дружку, но делали это бесшумно. И вот, где-то будто заработала водяная мельница. Шум нарастал. Гудел лес. Мощный шквал потрепал его, взвил в небо ворохи листьвы, хвой и травы и со всем этим со всей силой своей озорной беспечности обрушился на Шелудянку. Ох, как всё испугалось. Всё замерло, всё вцепилось в землю. Однако труба Захаровского дома не выдержала и кирпичами рассыпалась по крыше.

— Ого-го. Ое-ёй. Хватит, видно, Захар, тебе помирать — так мне кажется. Надо дом или уборную караулить, она у меня на самом

бою стоит.

Поднялся Захар Иванович, выкинул наверх телогрейку, подпрыгнул и стянул, ухватив, в яму лестницу. Неумело перекрестившись на свой мотающийся, как былинка, скворечник, то исчезающий, то появляющийся в поле зрения, как маленькое, белое привиденьице, Захар Иванович стал выбираться из своей могилы. И тут вдруг долго-долго что-то запищало. А Захар Иванович коротко только и вздохнул: "О-ох", - вздохнул и свалился на дно погребца.

И чё это с ним? Неделю не пил, держался, и вот на тебе - назюзюкался. Сердчишко-то больное у придурка - доиграется: может, когда-нибудь так, со стаканом в руке, и окочурится. Мало ему - отхаживались раз уж. Нет, не имётся человеку. Собаку какую-то притащил за собой. О-о-ой, тошнёхоньки. Или с войны уж так... или такой уж отроду. Молодой-то вроде поумнее был. До фронта не пил, не курил и чё, спрашивается, взялся? С того, ли чё ли, раза, если верить.

И коснулось легонько сердца, из памяти выплеснувшись, и холodem прильнуло к затылку прошлое - привычное уже, тупое:

Ещё затемно управилась Матрёна. Пока туда-сюда ходила - и избу выстудила. Вытянув из-под туго набитого снега с кое-как крытого двора жердь, она взяла топор и стала рубить. Дров весной они со свекровкой напилить не успели, заготовили осенью кубометров десять, но вывезти их так и не смогли. Иногда, в украденное время, то она, то свекровка бегает с санками в лес к поленицам, привозят раза по два, но этого неужто хватит. Приходится экономить и рубить жерди с крыши двора да с изгороди. А зима морозная, лютая: не стихай подбрасывать в печку. Одни бы - полбеда ещё, перетерпели бы, но мальчонку - того застудишь.

Нарубив, Матрёна собрала дрова в беремя и пошла в дом. Свалив их под шесток и скинув шабур, она запалила берестину и стала растоплять буржуйку, которая быстро нагревается, но так же быстро и остывает, тепло с неё долго не держится.

Из спальни выбежал Мишка и оседлал согнувшуюся у печки мать.

— Ох, ты уже, голяк, поднялся. Ну-ка, беги оденься. Босиком-то по полу студёному — что по катку. Застудишь ноги — и будешь всю жизнь, как старичок, на лавке сидеть. А ну-коть.

Мишка скрылся в спальне и скоро вышел оттуда одетый как попало и в разное. Матрёна достала с русской печи катанки и бросила ему их в ноги.

— Обуйся, не ходи так, половицы-то иди как лёд. Обуешься, я дам тебе орехов.

Мишка послушный — Мишка уже в валенках.

Подставив к полатам табуретку, Матрёна набрала в карман фартука орехов и, вернувшись в прихожую, высыпала их на деревянный, сколоченный покойным стариком Араниным, диван.

— Садись вот, щёлкай. Только не сори. Баушка ругаться будет. В кучку складывай, а она, придёт как, уберёт, — сказала Матрёна и подалась на кухню, чтобы картофельную разогреть болтушку. Самой поесть, парня накормить да, дождавшись свекровку, убежавшую проведать прихворнувшую соседку, мчаться в контору, откуда все бабы сегодня отправятся в лес рубить чурочки для эмтээсовских тракторов.

Наскребла Матрёна щепотку муки, бросила её в горшок с болтушкой, месит и думает, что, как на грех, корова без молока, и веники уж все скормили ей, гложет ясли в стайке, а так бы горя не знали, и самим бы легче, а то свекровку ветром уж качает, и за Мишутку спокойней. Месит Матрёна болтушку и идёт с горшком к печке. Смотрит, а Мишутка стоит возле дивана, обратившись на мать глазами испуганно, молчит и ручонкой на горло своё показывает. Лицо багровое. Пихнула Матрёна горшок на печку — и к сыну. Упал Мишутка матери на руки, забился, чуть погодя глаза закатил за веки и успокоился. Неживой. А у Матрёны столбняк, сидит на полу рядом с сыном и ничего не видит, ничего не понимает... Да ладно, да слава Богу, что подросла из гостей свекровка: откачала мальчишку. Ожил. Только тогда, сына схватив в охапку, заплакала Матрёна — и лампадка закачалась.

Уже за столом, за перепаренной болтушкой, свекровь, махнув по сухим губам уголком платка, дескать, всё — наелась, пошептала что-то для Бога, а затем уже громко сказала невестке:

— Я, девка, ускачу сёдня в город с ночёвой. Сестре, Настасье-то, картошки хошь снесу, пухнет там с голоду, а ты, отпро-

сишься, али как там, нет, дак Маньку вон попроси, Федосовскую, пусть уж с мальцом-то посидит денёк, ничё с ней не случится, в школу всё одно не ходит. Ах ты, мой базенький, — уже ко внуку, весело прищурившись, обратилась старуха. — Ну, батюшка, коли воскрес, дак таперича всех нас и саму кукушку переживёшь. Осподи, помилуй... Ну, я побежала.

Наползались бабы, налазились по глубокому снегу, надёргались пилами, натаскались чурочками, еле живые до дому добрались. Вошла Матрёна в дом, отпустила Маньку, золовку свою, и повалилась на диван. Не хочется шевелить ни рукой, ни ногой, веки сил нет поднять. Большой уж Мишка, пятый год пойдёт в августе, глядит на мать умными глазами и будто понимает всё — ну, мол, умаялась, матушка, а ты как думала, это тебе не орешки щёлкать, не в бабки играть.

— Счас, счас, родненький, я только отдышусь немножко, очураюсь... чай вскипятим... с картошкой намнёмся. А после и... на сьто-то... спать.

Поужинали. Матрёна подтопила на ночь печь, уложила возле неё на кроватку сына, накрыла его поверх одеяла ещё и суконным платком и, поцеловав, вышла в прихожую, где и расположилась с валенком, дырявым со всех сторон, думая, как бы и чем его зала-тать.

На улице потеплело. К стёклам снаружи то и дело с тихим шорохом прибывались мохнатые снежинки, подтаивали, заглядывая в избу, и сползали вниз. На оконных переплётах с внешней стороны собрались небольшие сугробики. Ох и долгая, почти восемь месяцев, в Шелудянке зима. С ума сойти можно, пока переживёшь. Да одним-то, без мужика — и вовсе.

Матрёна приткнула подошвами к печи подшитые валенки, перечитала последнее письмо от Захара с фронта и собралась было ложиться спать. В дверь кто-то постучал. Не свекровь ли вернулась? Да в кою пору, с её-то ногами. Разве подвёз кто?

И вот уж: на столе — бутылка водки, в чашке — большие куски варёного лосиного мяса, а на клочке старой газеты тонкими пластичками нарезана мороженая, лосиная же, печень, возьмёшь в рот — тает. За столом с пустым левым рукавом офицерской гимнастёрки сидит Аранин Александр. Напротив, вытирая платочком глаза, — захмелевшая от стопки Матрёна.

— Я ж тебе, дура ты, назло тогда, — прижав к колену коро-

бок, пытается зажечь спичку Александр.

- Ой, не знаю. Я видела, как ты с ней целовался, и всё.

- Целовался, целовался. Я ж говорю: тебе назло...

- Не знаю я, кому назло, а она говорила, что не только целовался... ой да Господи!

- Вот кобыла сивая! Пусть-ка не брешет. Нужна она мне... как барану сандали. Ну да это, чёрт с ним, ладно, а не могу понять я только... Захар-то почему? Тюфяк-то этот.

- А не всё ли равно. Предложил - я пошла.

- А теперь?

Матрёна пожала плечами.

- Чё, что ли, любишь?

- Может быть, не знаю.

- Скучаешь, да?

- Нет, просто... тяжело. Свыклась. Человек добрый.

- Свыклась. Быстро чё-то. Вам, бабам, лишь бы человек был добрый.

- А чё ж ещё?

- Да я люблю... - Аранин зажёт спичку и отвёл взгляд от собеседницы на кончик папиросы.

- Ай, чё там, не будем об этом... Саша. Кто старое помянет, тому глаз вон... так ведь.

Свет от лампы тусклый. То и дело приходится выкручивать фитиль, выкрученный слишком, он начинает коптить. В избе пахнет гарью. Пахнет лосятиной. Пахнет горьким разговором.

Было за полночь.

- Саша, пора... мать спросит... - не глядит Матрёна на Аранина.

- Счас, счас, - уже в который раз отвечает тот. Но теперь встал, поправил рукой гимнастёрку, просовывая пальцы под ремень. Сказал: - Давай ещё на посошок... да я пойду.

- Ой, что ты!.. пьяная и так уж, - махнула рукой и захихикала Матрёна.

- С одной-то рюмки... крепче будешь спать.

- Да я и так...

- Да ты и так...

- Не жалуясь.

У дверей Александр долго не выпускал пальцы Матрёны. Тёплые. Родные. Единственные. Огрубевшие. Но всё же бабьи.

- Сёдня какое же число-то?

- Да уж двадцатое, однако.

- Хе - однако... Помнишь? Мать уехала... Будем до гроба так вот...

- Ладно.

- Э-эй... Поцеловать-то можно? - а голос свой не узнал. И никогда-то об этом не спрашивал: хотел - целовал, его это были губы, его. И волосы, и глаза, и нос, и шея, и ноги, и грудь - всё тело её ему принадлежало. А теперь вот... словно нищий - и милостыню приходится просить.

- Нет, нет, ты чё, - шёпотом Матрёна. Дёрнулась её рука, но крепко держит Александр, да и пальцы льнут будто - не слушаются. - Я не могу так, - а голова кругом идёт, и мысль одна в ней: да грех ли? Не грех. Было ведь, всё было. Мой же, мой он. - Нет, нет, ты чё, нет, нет, ну чё ты, Александр, Саша, Са... - и как лето с майским дождём - мужское тепло, мужская сила, мужская власть, мужские ласки, и не просто мужские, а его, Сашкины, первого, родного, вредного, но единственного - не бежать хочется, от земли оторваться, полететь хочется.

Едва, в корону спрятавшись, светил фитиль. Стекло лампы всё чёрно от копоти. В избе жарко. Проснулась Матрёна. И горечь. И сладость. Что-то ещё. И: мой, мой, мой. Пусть на ночь, пусть на год, пусть на всю жизнь - хоть даже в памяти.

- Ух и натопил, - сказала Матрёна. И открыла глаза. Он лежал рядом. Он спал. Равномерно, спокойно поднималась грудь его, замирала и опускалась. Как когда-то. Как раньше. В придуманном будто сне. В стогу, на поляне, на чердаке, у него дома. Не так вот только: розовая культа. Но всё равно: твой. Твой... Твой.

Почувствовав жарь, Матрёна вспыхнула: так и не погасил лампу. Повернувшись, она взглянула на детскую кровать и обмерла. В слабом, тусклом свете увидела она, что открыты глаза у Мишутки. Смотрит Мишутка на неё. Матрёна машинально натянула на себя и Аранина одеяло, затем спустила на пол ноги, глядя на сына, укрыла Аранина с головой, встала и подошла к ребёнку.

- Мишутка, родненький, ты чё?

Смотрит на постель материну Мишутка и молчит.

- Да чё с тобой, хороший мой?

- Боюсь.

— Чего? Приснился страшный, что ли, сон?

— Боюсь, — проговорил Мишутка тихим голосом, от которого у матери захолонуло сердце, и головой ткнулся ей в живот.

— Спи, спи, маленький, — Матрёна принесла воды, напоила сына. — Спи, мой сладенький, и никого не бойся. Мама с тобой, — и полежала с ним, пока он не забылся.

Уже управляясь, она несколько раз забегала в дом, чтобы взглянуть на сына. Кончив с управой, обмела возле крыльца растрепавшимся голиком валенки, в избе их скинула и, не снимая шабура, прошла в горницу. Мишка в рубахе, в рост его длиною, стоял на кровати и, закатив глаза, обеими ручонками царапал горло.

А на рассвете промаявшаяся всю долгую ночь старая Араниха приподняла голову над жёсткой подушкой и прислушалась.

— Воет кто-то, — пробормотала она. — Не ветер это, не собака... Баба... только баба так может.

Назавтра, двадцать первого января, Аранин сколотил гробик, а двадцать второго в летних, уже тесных, за пять картофелин выменянных у эстонцев, ботиночках и в новом, за ночь скроенном и сшитом из старого суконного платья свекровкой костюмчике Мишутку похоронили.

В комнате потемнело. Налетел на деревню сильный ветер. На крыше дома что-то загремело. В огородчике заскулила собака. Накинув шаль, Матрёна вышла из избы. Оттащив упавший беленый скворечник, она спустилась по лестнице в яму, через уши шапки пошлёпала мужа по щекам, взяла его за руки, взвалила, как мешок, на спину и медленно, опасаясь — не сломалась бы ступенька какая, выбралась с ним наверх.

Уже в доме Захар Иванович пришёл в себя. Ужинать он отказался, позволил Матрёне лишь смазать наскоро ушиб какой-то мазью, обругал её, Матрёну, за пол неподметённый и сразу же улёгся спать. И спал в эту ночь Захар Иванович так: не чувствуя ни рук, ни ног, ни мух, как те ни измывались. И только снилось ему, будто отец его покойный, Иван Захарович, всю ночь ковал на его темени маленькие щипчики, которыми собирался утром вытащить из глаза Захарки залетевшую туда репейную шипицу.

В. ЗЕМСКИХ

ПРОСТАЯ КНИГА

СТИХИ



53

х х х
Лодку с оборванной цепью
Тихо уносит течение
Следом весло уплывает
Помня о чьих-то ладонях
Замер на берегу
Стоит ли ноги мочить

х х х
Тень стакана
Словно срез
Дерева
Считаю кольца
Десять двадцать тридцать лет
А стакану года нет
Разобью чтоб не маячил
Брошу к мусору в ведро
Тряпкой на пол тень смахну
Кровь
Порезался
На стол капли
Десять
Шесть
Четыре
...

х х х
ртонной коробкой обернута письма и след,
а где наследившие,
где пузырьков вереница
вдоль берега
лунной тропой,
где водича,
где руки —
ладонями вверх подставляли струе
и пили. Шпагат оставлет рубцы

на пыльной картонной коробке,
где старые шрамы —
не высмотреть —
лишь ненаписанных писем
и скомкнут писем
Шагреня уменьшаетс —
Скоро желать перестанем,
Но как ни замазывать щели,
и рама тройные,
и шторы под цвет
не то светлой зимы,
не то тёмного неба...

Мальним кирпичом
сквозь закрытую форточку,
гостем свистит,
И воздух свистит,
покидая коробку,
И в лёгких пустынно.

х х х

Свет
отражённый от пустоты окна
падает в тёмный провал зрачка
или взлетает к отсутствию потолка
и расплзается
мало ли дырок в стене

Луч не может быть кругом
а чем ещё
последним снегом
облаком
взгляд через плечо
не объяснит ничего
да и не надо

х х х

Ковёр на стене
Голубые обои
и паутина в углу
Трещина на потолке
никуда не ведёт

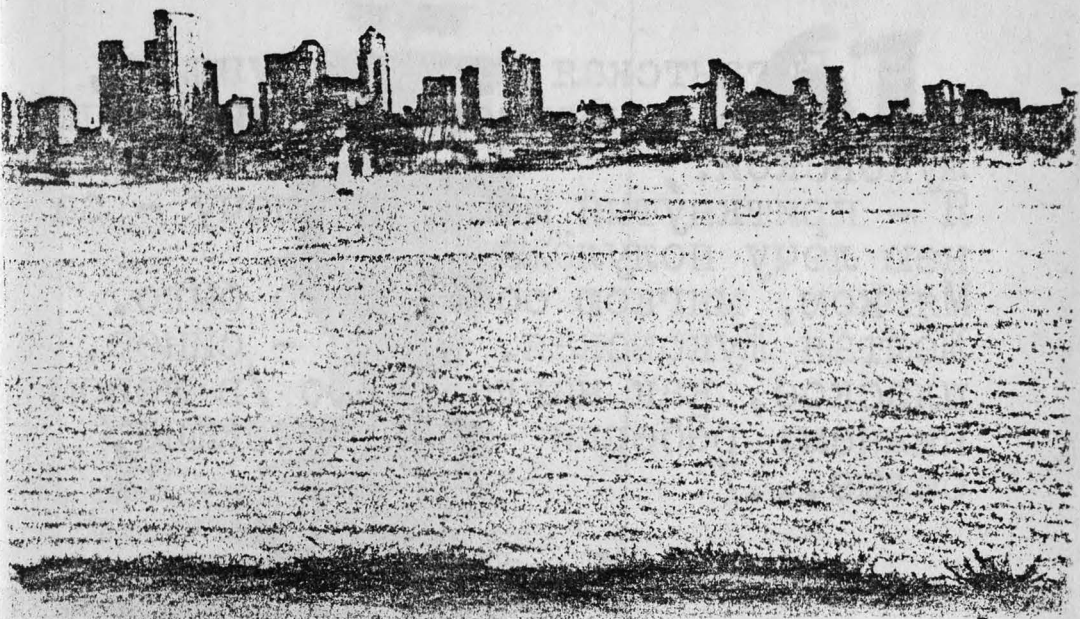
Никуда
И дымоход замурован
Кончился дым
За окнами в темноте вырастают дрова
Сохнет под шкафом
новое топориче

х х х
Если недолго глядеть -
Небо черно.
Тёмные ленты окон
Обвили дома.
Светят друг другу
два фонаря.
Что
Я увижу в последний вечер?

х х х
Выпала кружка из рук
Покатилась к дверям
Некому ждать пока высохнет тёмная лужа.



58



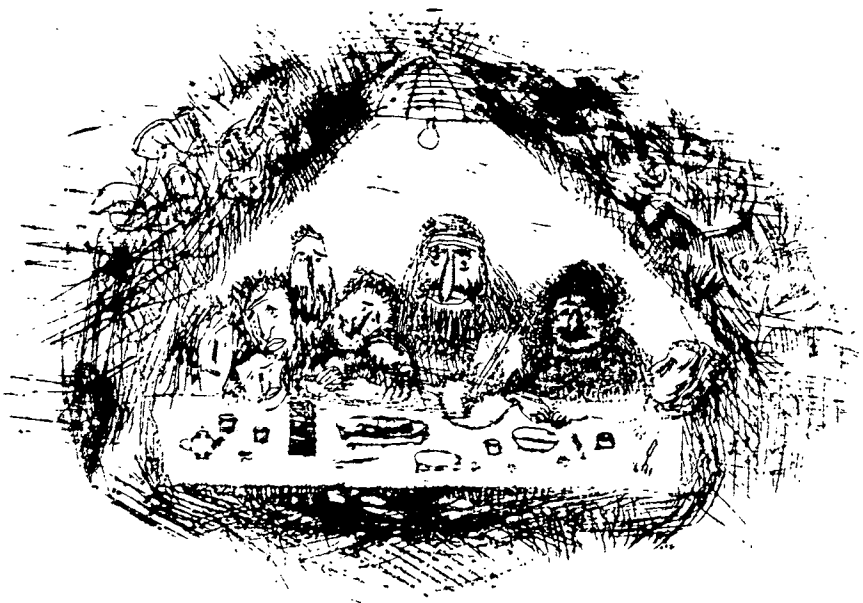
О. ЮРЬЕВ

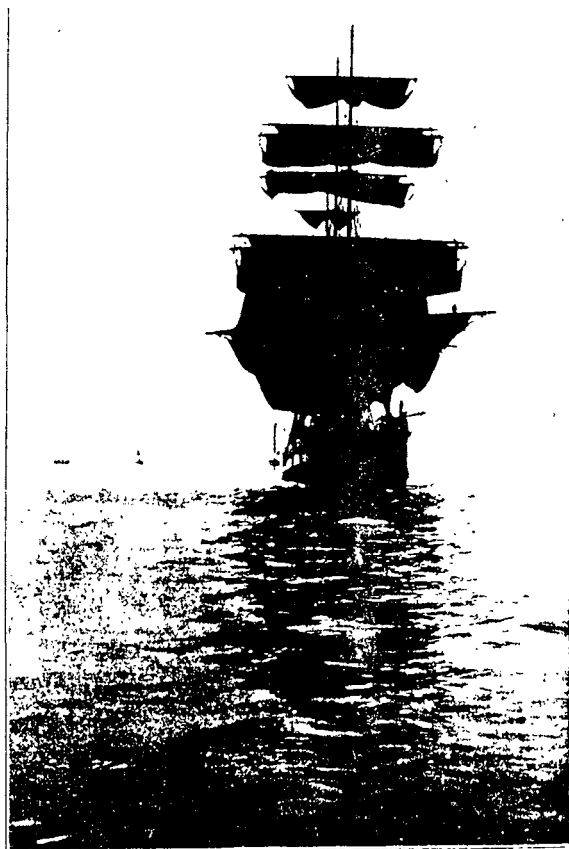
ИЗ ДЕТСТВА ИЗИ

Гигантская мама, вздувшись,
как парус, уносится - уносится по
Жуковской.

Я - приткнутый щекой к плечу - за
нею лечу полулёжа.

Мягкою, мягкой осенью это было.
Жёлтая Жуковская. Синее - синее,
плоское, как нигде, небо /в левом
нижнем: рёберки - полувывтекшие,
белые.../





61

Я смотрю вверх, вжимая краткошёрстый пумпон в тёмно-синий берет. О, что за ветер несёт нас к расходящимся каменным купам?! Жёлтая, жёлтая Жуковская...

2

- У ней муж - козёл и по полатам семеро. - ... Козлят...

3

Когда Изя, цепляясь короткими сверкающими вёслами за междувольнья, оттянул шлюпку, по его мнению, достаточно, лишь вот тогда только он посмотрел туда. "Принц Альберт" заваливался набок, беззвучно исчезая в пучине и вот-вот, казалось, закатное солнце, разлитое по морю, втащит в себя себя же, блистающее на металлических кантах трёх его, "Альберта", белых труб.

— Что я мог сделать?.. — сказал Изя, отводя взгляд. Шлюпку перекачнуло с волны на волну и сильно подáло назад.

— Не бойтесь. Нас уже не затянет, — добавил он, отводя вёсла и сжимая плечами щёки для гребка. — Мы уже далёко.

Солнце почти что зашло. На недвижности океана возлегал ребристый его, тускло-красный отсвет и единственному, что, помимо солнца, двигалось в обозримом мире — рвано и мерно рвущейся куда-то лодке — никак было не достичь этой узкой полосы.

Наутро Изя проснулся и, увидав под глазом у себя деревянную сетку, за которой вздрагивала на дне вода, решил сначала, что забрёл сюда после дансинга на верхней палубе и заснул нечаянно — как случалось — но, приподнявшись на локтё и найдя: 1) окрест — лишь одну розовую в утреннем свете бездну, а 2) возле — согнувшуюся на боку, быстро вздыхающую под сизорозоватым одеялом из спасательного комплекта — сестру (собственно, дочь жены отца, но неважно), а на корме — сидящую прямо и печально (руки на коленях) незнакомую женщину — это 3) — он всё-таки всё вспомнил. Гладенькие, с пирамидальными зелёными набалдашниками, ручки вёсел, подёргиваясь, полулежали на бортах.

Отчаяние завладело Изей.

...И вновь маленькая шлюпка, одна в недвижном, безмерном пространстве, безнадежно и упорно катилась куда-то, задирая свой мильный нос кверху.

Изя сунул саднящие ладони за борт. Какая-то рыбка, стоя на хвосте, выпучила глаза и зазевала вывернутым овальным ртом.

В молчаньи погиб большой — красивый, дотоле вечно гудящий машиной и звенящий музыкой корабль.

В молчаньи зашло и встало солнце над кругом океана.

И лишь рыбы здесь ещё пытались говорить.

4

Ясною, ясною осенью это было.

Деревья во всех жёлтых застёжках кратконого, неколебимо лежали в чёрных каналах. Жёлтый и синий, и ветхо-зелёный город, сомкнувшись, как навсегда, рос сквозь ладонь всех его чёрных рек.

Ясною это было осенью...

5

— Ну ладно, ладно...

Удлиняясь и сужаясь тенью, мама перешагнула улицу. Расписной пузатый броневичок на влажных железных колёсиках. Перегнулась. Сунула голову с большой чёрной причёской под его провисшую полосатую крышу.

Мороженое было "эскимо" на фанерной ножке, каких сейчас не делают — чуть заиндевшая шоколадная пирамидка без острия, на которой от пальцев — лакированные овальные пятнышки.

За одиннадцать копеек.

Хрупкая бумажка в синих жилках. Полуотставшие шоколадные донца. Зубчатый, белый, морозный надкус...

6

— Он, гад, сзади... А тут Горб с пацанами...

7

— По обмену, — сказала мама поверх цепочки.

Дверь захлопнулась и, звякая, расхлопнулась снова — во весь рост. Чиркнула спичка и две узкие старушки, обёрнутые серыми, грубошёрстными, почти верёвочными шальями, попятились, воздевши над головами пару стеклянных призм с дрожащими внутри маленькими кривыми свечками.

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

Схватив юбку за перистые бока, мама занесла бронированный бот над Чрезвычайно Высоким Порогом.

Потом раздумала, испугалась, вернула ногу восвояси и поддела меня подмышки. Так, держа меня, своего маленького сына, склонившего пухлую голову в чёрном сползающем берете, берете с серым пумпоном, итак, держа меня перед собой, как хоругвь, она вступила в эту квартиру, переступила этот порог.

Две одинаковые старушки взволнованно бежали и держали одинаковые руки в пластырных чёрточках на стянутых чёрно-серебрянных причёсках.

Мама подвернула какую-то складку под коленками и села на рхнувшую табуретку.

Протянув ноги под неравномерно оседающим кругом юбки, она шурила близорукие, милые, румяные очи и протягивала две табуретные гнутые ноги с золочёными копытцами.

Всё остальное исчезло под мамой.

Старушки одновременно взмахнули руками и заговорили по-французски скорее скорого, отчего гнутые восковые носы их раздулись, или же, как я нынче сказал бы — окрылились.

Старушки тянули большую маму за локти вверх, а мама поворачивала в разные стороны голову и извинялась, извинялась...

— Почему у вас так странно, Эммы Викторовны?.. — спросила мама, принимая из завёрнутых в кружевные манжеты рук страшную железную кружку с заболоченным чайным глянцем.

Эммы Викторовны оглянулись и, стрекоча, побежали по комнате, касаясь острыми руками то распоротой, и по-видимому, совершенно пустой, без ничего, тахты на кирпичках, то огромных, загибающихся обойных чешуй там-сям, то чёрного беспаркетного угла, то...

8

Изя сбросил хворост под коренастый эвкалипт и с треском сел сверху. До землянки ещё было ого-ого сколько, а Изя уж устал. — полуденное солнце палило нещадно.

Расчетверившееся кривое дерево ни одной своей тёмно-зелёной косточкой не шевелило, и даже крепдешиновая бабочка пришпилена казалась к углу воздуха тёмно-серебристым острием.

"Айзек! Айзек!" — по дорожке — единственной, ведущей в чашу — путано бежала миссис Робинсон, прижимая вздрагивающие низкие груди. — "Айзек, корабль! Скорее!"

Держа перед собой ворох хвороста и оттого ничего не видя, Изя заскакал по тропке навстречу, в гору. — Миссис Робинсон уже бежала назад. "Скорее, скорее!" — кричала она резким, птичьим голосом и, оборачиваясь, наклонялась всем своим резким, узким телом, как бы помогая, как бы ускоряя Изин скок.

Изя свалил хворост в костёр и отпрыгнул — так моментально всё занялось, взлетело вверх полупрозрачным треугольником и задрожало, забилося, закачалось.

"Зелёных! Зелёных скорей!" И Изя кинулся ломать с близстоящих деревьев ветви и издали метать их в окаймляющийся чёрным и сжигающийся огонь.

"Скорее, скорее, ещё!" — кричала миссис Робинсон с дерева.

Но корабль исчезал, исчезал, уходил влево по окоему и уменьшался, расплывался, как бы сваливался за эту роковую черту.

"Ушёл." — сказала миссис Робинсон и нелепо, по-детски выставив раздвинутые прямые ноги, осела. Слёзы срывались с её неморгающих глаз и упали на скулы. — Затем съезжали к подбородку (с двух сторон наискось), съезжали по двум голодным ложбинкам, быстро темнеющим. Костёр уже весь стал из чёрного дыма.

"Полно." — сказал Изя. — "Не плачьте. Пожалуйста." Миссис Робинсон не отвечала и глядела недвижно перед собою.

Тогда Изя схватил миссис Робинсон за спину и под коленями и, одним движением подняв с земли, задыхаясь и отставляя голову, понёс её вниз по тропинке, туда, под недвижимую сень эвкалипта.

9

... зато здесь не водились тараканы.

Капуцины любят тараканов. Они их слизывают, полупрозрачных, шевелящих усами, со стенки и, зябко усевшись провозжат внутренним взором тараканий спуск в свои маленькие бессветные недра. Жако I был хороший капуцин.

Он ходил за Эммами Викторовнами хвостом (его же хвост тянулся, в свою очередь, сзади). — ногти всех четырёх рук его постанывали, постаныва...

Сидя, как Бонапарт, на узком высоком стуле, он изредка замирал, сознавая что-то своё, неизвестное, но, несомненно, очень-очень высокое и грустное.

Вроде и не шевелился он, но ваза с цукатами как-то всё опустевала и неизменно на дне её к полуночи оставался единственный — один синегато-скользкий кабашончик.

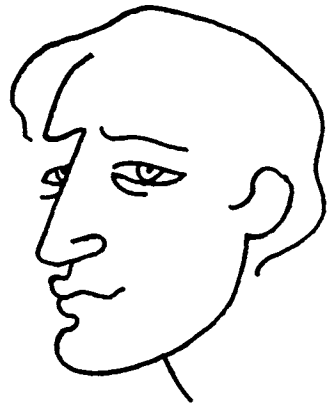
Жако I был хороший капуцин.

Он доставал муху с люстры, не зазвев, и чесал пуделя Гошу безволосой скрюченной ладонью.

Он пил с Эммами Викторовнами чай из северских чашек и читал Гюисманса — глава в день.

Никакой крестословицы не оставил он без решенья.

68



ОЛЕГ РОГОВ

Гость ночной хозяев не застанет,
над парадным Вesper полыхнёт.
И ещё раз мёртвыми губами
"я живу" душа произнесёт.

Где ты был? не знаю и не помню.
Там, где не бывает ничего.
Только глины слипшиеся комья
и тростник у сердца моего.

Связаны оборванные нити,
тянутся, узлами шевеля.
Выдохнешь - и ты опять в Египте,
и на вдохе - Красная земля.

Эта жизнь - последнее оружие,
проклятой смоковницы цветок,
прячется во внутреннем снаружи,
смотрит на тебя в дверной глазок.

Ждать - это идти непоправимо
через слатный в точку океан,
и пока ещё неразделимы
глинозём, песок и Ханаан.

I

Новолетие светит
отражённой радугой сна,
словно чаша бессмертья
снова выпита нами до дна,

словно спрятанный полюс,
где смыкаются север и юг,
переполнен собою,
как впервые замкнувшийся круг.

2

Заводная игрушка
этой вечно голодной луны
отмеряет послушно
время Пасхи для нашей страны.

Всё зачтётся работа,
начиная с четвёртого дня.
В море красного пота
растворятся её якоря.

3

Нашей первой отчизны
первый ветер дыхание принёс,
и хрустальные линзы
детских слёз и сорвавшихся звёзд

он наводит на город,
где однажды поднимет на свет
нас колодезный ворот.
Только солнца и храма в нём нет.

А внизу и снаружи
ждёт меня его здешний двойник,
что в тисках полукруглий
к своему отраженью приник.

И, как лёгкий источник,
их сегодня друг к другу домчит
эта радуга ночью
в слишком плотной для света ночи.

Запойный дождь на сломе октября
бормочет на своём, уважить просит.
Работа! сердце! разум не выносит
ночные вертикальные моря.

Ударница, безумная швея,
душа моя, куда ж тебя заносит,
пока распродаёт частями осень
негоция "верх-низ и сыновья"?

/Три было сына. Старший паренёк
стал моряком, а самый младший братец -
ослепший, но продвинутый толмач,
и он напрасно слов чужих не тратит.
Один из них остановил челнок.
Мы встретимся ещё, душа, не плачь/.

И гад, лирическая поэзия Л.Р.

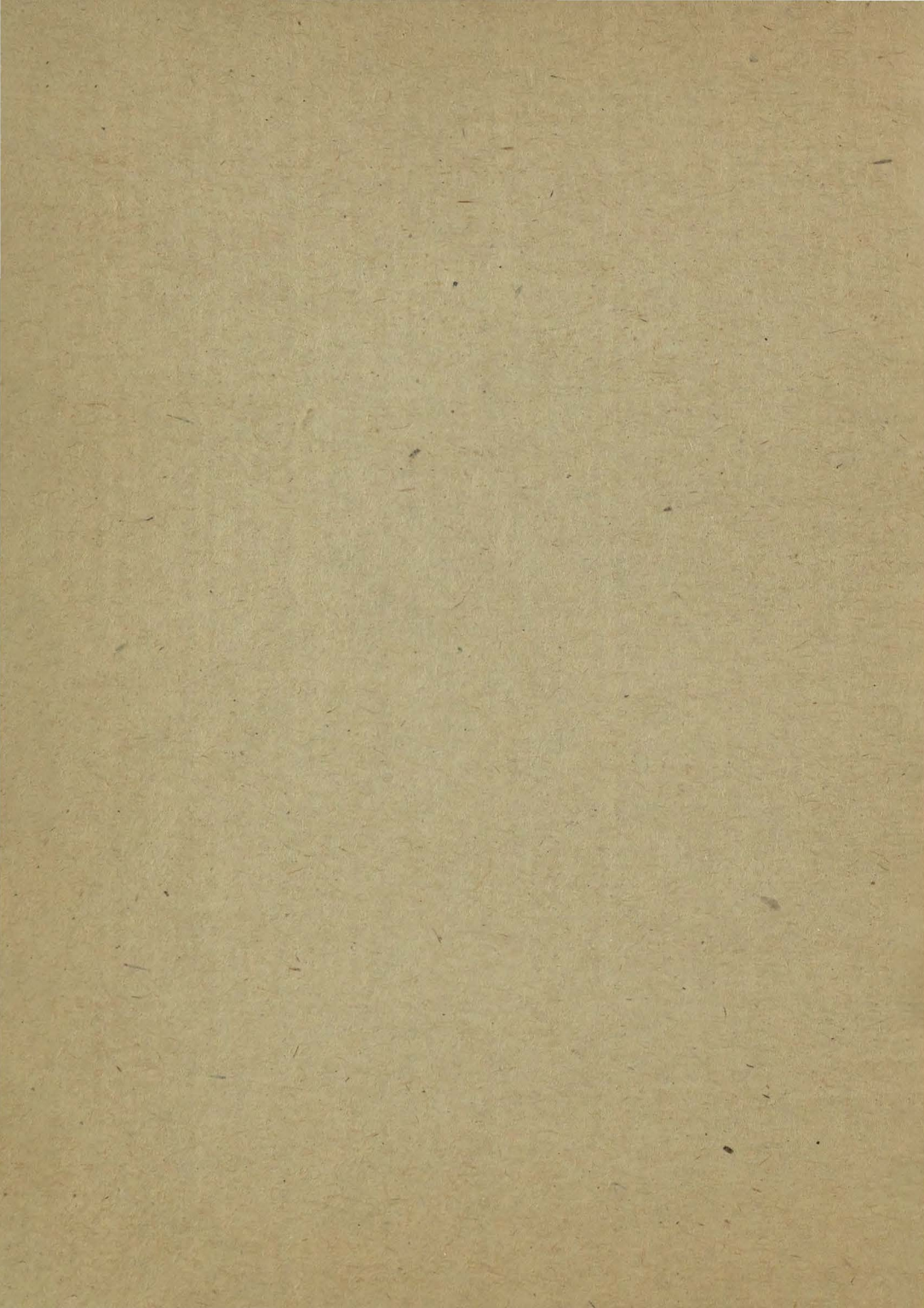
-Эти гады, - начнёшь, ну а дальше само понесёт
риторической заумью, пасом клубочка Алёны
в мировое пространство, которое пахнет палёным
человеческим мясом, и всё остальное не в счёт.

Лучше не продолжать, а споткнуться на первой строке,
затеряться, как в смерти, в тупых лабиринтах отточий.
Мне дороже цитата, чем собственный оттиск в реке
и в скоплениях воздушных, которые всех нас морочат.

Разбредается жизнь по гостям да по книгам чужим,
на бухое "ау" отвечает звонок телефона.

Если в нашей стране установят военный режим,
мы уедем в деревню и будем читать Ричардсона.

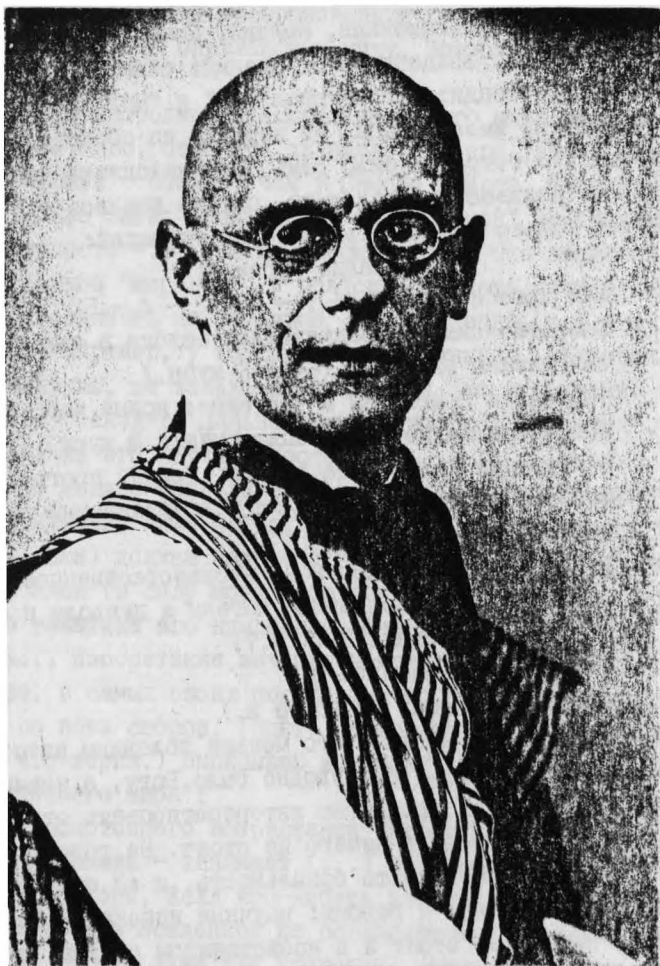
Но бормочешь опять - или кровь, шелестящая вне,
или адрес размытый на сером прозрачном конверте,
- знаешь, там, далеко, в жидком море на круглой волне
эти гады играют и гладкими спинами вертят.



1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840
1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850
1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870
1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880
1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950
1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2011	73		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2021			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030



СУМЕРКИ.



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР. СУМЕРКИ.

Серая обёрточная бумага, нарезанная листами, сложенная пополам и прошитая нитками. Фиолетовые чернила, почерк интеллигентский (!) дореволюционный, мелкий. Почти нет ошибок и исправлений. Стил... воздержусь от оценки: слишком трудно. Сами увидите... Две тетради: "Мой журнал № 1" и "Мой журнал № 2". Вторая тетрадь не имеет конца. Из перечня на обороте обложки № 1 следует, что тетрадей было семь. Где находятся остальные пять — так же неизвестно, как и то, откуда взялись эти две. Мне остаётся только переписать перечень тетрадей:

Содержание журнала:

Моя автобиография № 1 — 2 — 3 — 4 — 5

Теоретическая и практическая ошибка в законе сохранения энергии. (6-ой № журн.)

Чертежи и пояснения к чертежам: новые ещё неведомые науке комбинации рычага № журн. 6.

О будущем. Дальнейшие выводы. Предел прогресса (№ 7 ж.)

Что такое душа и мыслим ли так называемый загробный мир? (№ журн. 7)

Что такое так называемое сверхъестественное (№ 7)

Что такое так называемые ангелы и дьяволы и мыслимо ли их существование? (№ ж.7)

О далёком прошлом (№ 7)

Спор о витаминах (7 номер ж.)

Итак, всё, что мы имеем — это меньше половины автобиографии. Жалко? — Как сказать. Это угодно было Богу, а значит, это что-нибудь да значит. Я предлагаю интерпретировать это так: научные изыскания Радзевича ничего не стоят. Не говорю "для науки" — потому что наука есть банальность, и её интересы нам известны и не интересны. Я говорю: научные изыскания Радзевича, по-видимому, ничего не стоят и в нравственном смысле, ибо из-за своего пиетета, присущего всякому сумасшедшему самоучке, он, наверное, не сумел возвыситься над банальностью науки. Но те две тетради, которые лежат перед нами, — они как бы говорят нам: не в этом дело. Радзевич велик ("величие" — не то слово, потому что величие предполагает однородность сравниваемых величин) —

Радзевич изумителен тем, что мог абсолютно выпасть из банальности жизни. В этом смысле /а точнее сказать: абсолютная бессмысленность/ его автобиографии для нас, — во всяком случае, первой её части, которая нам дана. Возможно, дальнейшие тетради воспроизводили жизнь более благополучную, более "притёртую" к окружающему миру. Возможно, поэтому они и утрачены... —

Радзевич инороден относительно нашего мира, как инопланетянин. Более того, осмелюсь сказать, что его униженность, смирение и страдания — больше, чем у Самого Христа. Радзевич ничему не "учит". Его жизнь — вне нашей "ценностной" системы координат. Его деятельность — абсолютно бессмысленна. Она лежит вне любой мыслимой земной "корысти", и поэтому она есть чистая хвала Богу. Но его деятельность не "вопиюще" бессмысленна, т.е. не декларативна, как например, у современных художников. Радзевич прикрывается (конечно, не только прикрывается, но и смиренно самообольщается) какой-то дальней гипотетической "пользой", имеющей последовать из его научных достижений.

Нам не должно быть дела до того, что думал Радзевич. Мы обращаем внимание лишь на то, как он жил. Сама выборка тетрадей (I — 2 из семи) должна подсказать нам такой подход. И всё же... несколько слов (в силу моих собственных склонностей) я хочу сказать о тематике его изысканий. Она тоже запредельна, как и его жизнь... Изобретение вечного двигателя. Занятие бесславное, в самых своих посылках — обречённое, позорное, высмеянное со всех сторон. (Опять повторяю: не важно, что он думал и во что верил.) Выписываю из книги Артура Эддингтона "Природа физического мира":

Закон монотонного возрастания энтропии — второе начало термодинамики — занимает (...) высшее положение среди законов природы. Если кто-нибудь заметит вам, что ваша любимая теория Вселенной не согласуется с уравнениями Максвелла, то тем хуже для уравнений Максвелла. Если окажется, что ваша теория противоречит наблюдениям, — ну что же, и экспериментаторам случается ошибаться. Но если окажется, что ваша теория противоречит второму началу термодинамики, то у вас не останется ни малейшей надежды, ваша теория обречена на бесславный конец.

II

Прекрасно. — Остаётся добавить лишь одно: в высшей обречённости находится (заключается?) высшая святость. Не будет ли уместно в данном случае возразить Эддингтону словами апостола Павла: "Кто хочет быть мудрым, тот будь безумным, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом".

"Мудрость мира сего" — это система смыслов, полностью обусловленная вторым началом термодинамики. Смерть, рождение, питание, размножение, самоутверждение, самостабилизация — это узлы как бы смысловых линий, относительно которых ориентированы все наши цели. Всякое наше действие так или иначе соотносено с этой системой, действуем ли мы безотчётно или сознательно, "конформируем" ли с природой или дистанцируемся от неё. Причём, не только наши житейские действия, но и культурные и религиозные акции таковы: они не конструируют новой, обособленной области, а лишь пристраивают дополнительные измерения к пространству физического бытия.

Человек всегда прикован к самому себе, и этим ограничено его богопознание. Что могло бы стать полным, совершенным словом Богу? — только действие, начисто лишённое всякого человеческого смысла: человеческой цели и "пользы". Но нет вполне бескорыстных религий, как нет и вполне бескорыстного искусства.

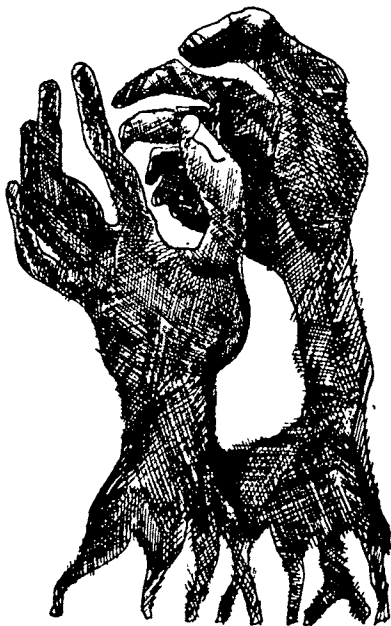
Чистое искусство говорит само о себе, что оно не имеет смысла. Но оно лжёт и кокетничает. Я никогда не думал, что настоящее отсутствие смысла может вызвать этот дикий, животный ужас, который и в течение двух часов почти нельзя вытерпеть. Когда-то я прочёл рукопись Радзевича, и теперь, приступая к её изданию, я даже боюсь её вновь открыть. Радзевич (не умозрительно, а "живьём") находился в этой области 43 года (а возможно, и дольше). Только самообольщение, быть может, помогало ему отчасти.

Известный миф о "нищем художнике" Радзевич воспроизводит, и очень существенно деформирует. Отмечу три момента. — (1) "Нищий художник" противостоит миру пассивному и равнодушному (т.е. конечно, и жестокому, — но лишь от невнимания, от самодовольства). Радзевич — а к т и в н о отторгается миром, преследуется по пятам, гонится и яростно убивается как урод. (2) "Нищий художник" горд и самодостаточен: он находит все необходимые ресурсы внутри себя. Радзевич — ничего не находит нигде, он

III

только инстинктивно цепляется за палку, которая его бьёт, он - в отличие от художника - "нищ духом" - т.е. абсолютно нищ... И, наконец, третье, самое важное: в мифе о художнике как обязательный структурный элемент присутствует "воскресение", т.е. в конце концов благодарное признание его миром, усвоение, включение в "систему". Прижизненное или посмертное, пусть даже очень отдалённое, - но оно грядёт. Художник может в него верить или не верить, - это не важно: в мифе оно наступает объективно. Для Радзевича - не наступает и не наступит ничего никогда. -

И вот, таким образом, я добираюсь наконец до объяснения, почему мне нужно издать его рукопись. - Это нужно мне потому, что это не есть символический жест воскрешения, признания или там чего-то подобного. - Нет, это именно есть просто и вполне бессмысленное, ничего не означающее действие.



Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык;
И с того поднявшись над болотом
В душу плачет чибис и кулик.

Есенин

Моя автобиография

В 1888-м году в июле месяце в самый разгар летней страды зачата была жизнь: простые, тёмные неграмотные полунищие супруги зачали эту жизнь, зачали нисколько не давая тому отчёта, что они делают, что творят. О если б возможно было за 43 года вперёд^{х)}, т.е. ещё до рождения этой жизни, крикнуть: безумцы, остановитесь! Что вы делаете? Зачем, для чего творите эту жизнь. Но нет, крикнуть за 43 года вперёд нельзя было. Жизнь зачата была. А в апреле 1889-го года родилась эта жизнь. Затруднялись даже, какое имя дать новорождённому. На тот день (12 апреля) выпало в календаре только одно мужское имя Василий, но Василий в семье уже был. Крёстный урезонивал, что грешно отказываться от того имени, какое выпадает на день рождения, что всю свою жизнь этот человек будет несчастным! Такие резоны убедили спорщиков и новорождённый был назван Василием, а в метрической записи он значился Василием II. Только тогда мать поняла свою ошибку, когда печальный факт красноречиво говорил сам за себя: шестой ребёнок в полунищей земледельческой семье. Зачем он? Лучше бы он не родился! Эта мысль яснее ясного стала в момент случившегося пожара: пусть лучше он погибнет в пламени, чем потом всю жизнь свою будет мыкаться в горе, в бедноте, в нищете. И трёхлетний ребёнок был обречён пламени: что можно было вынести из курной пылающей избы было вынесено, а он был обречён пламени. Но маленькая сестрёнка, Гандзя, хватилась, что в избе забыли Ваську и ненужная жизнь была спасена. О не надо думать, что моя мать была каким-то извергом, чёрствой и жестокосердной особой, о нет, наоборот, она была просто на редкость даже удивительно мягкой и добросердечной

х) За 43 года вперёд - т.е. до ссылки в северный край.

особой. Ея поступок вытекал не из нелюбви к своему ребёнку, а наоборот даже из любви: пусть лучше младенцем он погибнет, чем потом всю свою жизнь будет страдать. Она словно каким-то чутьём угадывала (материнским очевидно) незавидную долю своего меньшого сына. Таким чутьём обладают птицы самки-матери (напр. аисты): предчувствуя незавидную долю своих птенцов они наперёд обрекают их гибели выбрасывая из гнезда. Однако в судьбе жизни Василия П-го как будто бы что-то спорное было: точно два спорщика настойчиво пытались доказать, один, что этой жизни был смысл родиться, а другой, что нет, не было смысла родиться. Какое будущее, какая карьера могла улыбаться Василию П-му? Да никакой. Пастух, батрак и в придачу ещё неграмотный, вот всё, что могло ему улыбаться. Правда читать по славянски выучил его крёстный; но и только всей грамотности; писать же Васька также не умел, как и его учитель крёстный. Повидимому второй спорщик прав был. Но нет, Ваське десятилетнему вдруг точно с неба свалилось неслыханное счастье: у него вдруг оказался замечательный дядя, брат матери, Фёдор, монах Киево-печёрской лавры, он то и задумал доброе дело - дать образование своему племяннику. Задумано - сделано. Наскоро Васька репетируется поповичем для поступления в уездное духовное училище бурсу. Экзамен в приготовительный класс был настолько нехитрый, что его и попугай мог бы выдержать: знать наизусть кое с каким переводом на русский "отченаш", счёт до 100, подписать свою фамилию и весь экзамен.

Спорщики судьбы и тут спорили, один уверял, что нет, этому маленькому дикарю-карлику ни в коем случае не выдержать экзамен в духовное училище: от страха он и слова не вымолвит на экзамене. И правда, Васька всю дорогу сам не свой был при мысли, что он едет на страшный экзамен. Он и так робеет пред всяким незнакомым человеком, а пред страшными учителями бурсы он и подавно сробеет, так сробеет, что именно будет как в столбняке, даже слова единого не вымолвит. Этот экзамен мучил его всю дорогу, как страшный жуткий кошмар. И вот наконец Васька уже в экзаменаторской; сидит за партой с такими же малышами, как и сам; правда он меньше их по росту; среди них он выглядит совсем ребёнком. Васька - точно во сне и полузабытье; он видит и точно не видит, слышит и точно не слышит. Это очевидно последняя степень, граница, предел страха пред экзаменом. Вот какой-то мальчик угостил его недоеденным

яблоком. Он взял, точно не зная, что делать с этим яблоком. Машинально стал есть, съел. И вдруг... о чудо! вместо страха вдруг нашло на него какое то удивительное непостижимое спокойствие. Он может уже даже явственно слышать, замечать. Вот за столом, где очевидно сидели учителя, те страшные внушительные учителя, которых он так всю дорогу боялся, а сейчас почему то они ему нисколько не страшны, — один из учителей стал смотреть в список, сказал какое то непонятное слово с очень понятным, знакомым словом Василий. "Это очевидно меня зовут" подумал он и, вставши за партией спокойно заявил учителям: — это я. Его позвали к столу. Он спокойно подошёл и к столу. Ему что то дали прочесть про морковь, капусту и другие огородные овощи; затем спросили, о чём он прочёл, какие овощи растут в огороде; и тот спокойно без малейшего страха пересчитал все те овощи, какие он знал и без книжки. Учителя даже похвалили его. А во время чтения один из экзаменаторов с удивлением даже заметил: смотрите, смотрите как вдумчиво читает! Потом давали сосчитать не свыше 15; раз он ошибся; но в общем арифметика, этот самый слабый для него предмет, сошла удовлетворительно, — три с минусом, русский три с крестом, а по закону даже четвёрка. Экзамен выдержан. Когда же пришлось справляться у экзаменаторов, выдержал ли Радзевич Василий экзамен, то вдруг оказалось, что Радзевича Василия даже в списках не было. Как же не было, когда Радзевич Василий был первым вызван к столу? И оказалось, что первым вызван был Бовдзей Василий, который в списке был, а на экзамен почему-то не явился; Радзевич же Василий в списке не был, а на экзамене был, отвечал вместо Бовдзея Василия. В список Радзевич не был занесён потому, что его лета уже переросли; ему шёл уже II-й год. Надо было писать заявление о разрешении держать экзамен как великовозрастному, такое заявление не было подано и потому Радзевича Василия в списке не было. Еслиб Бовдзей Василий явился к экзамену, то Радзевичу была бы закрыта возможность поступления в духовное училище. Надо было бы держать экзамен на следующий год в I-й класс, но подготовиться к экзамену в I-й класс было много и много труднее. Второй спорщик, казалось, был наверняка прав. Однако же каким то чудом первый спорщик пока оказался прав. Но в своей правоте второй спорщик не сомневался; он только улыбался и насмешливо говорил: ну ладно, пусть на этот раз я ещё не прав, а дальше!

У II

дальше! разве я могу быть не правым, какое ещё возможно чудо, чтоб я и дальше оказался не прав?

Легко было поступить в бурсу, но каково учиться? Тут только сказала моя скороспелая подготовка: я совершенно не мог учиться даже и в подготовительном классе бурсы. И точно в глухом непроходимом лесу оказался. Особенно вопиюще плох я оказался по арифметике. Коля уплатил четыре копейки за два карандаша. Что стоит один карандаш? И я... я не мог решить даже и такую пустяковую задачу. Я не понимал, при чём тут Коля какой-то, когда я сам в нашей сельской лавчонке покупал карандаши за одну, а не за две копейки.

В довершение ещё случилось одно обстоятельство, которое наложило отпечаток на всю мою последующую жизнь, главным образом на мой характер. В первый день учёбы в бурсе я именно оказался точно в глухом непроходимом лесу. Всё мне было ново, чуждо, незнакомо, таинственно и страшно. Где то раздававшиеся наверху звуки рояля внизу для меня казались вознёй какого то чудовища. Чёрные круглые печки (голландки) на коридоре казались заточением злого нечистого существа. Поэтому очевидно и была наверху страшная возня каких то чудовищ. Непонятными также были для меня частые звонки; зачем, для чего это звонят? Мне захотелось мочиться. Где уборная, — я знал, но не знал, в какое время можно идти в уборную. Я иду в уборную. Вдруг раздаётся звонок и учитель горит в класс. В классе около стола он целый битый час держал меня и всё шпиговал меня по арифметике. Мне до смерти хотелось мочиться и я порываюсь уйти, но учитель не пускает меня. В результате я невыдержал, набухший сапог и лужица показавшаяся из под сапога говорили сами за себя, что со мною случилось. Учитель это видел и всё же продолжал держать меня у стола. Но вот ещё хуже: у меня образовалось расстройство желудка. Прошусь выйти оправиться. Учитель не пускает. Две переменки я пропустил, т.к. не знал, что это за переменки. Кое как дотянул до конца уроков. Вот иду оправиться. Вдруг опять звонок. Школьники становятся в очередь на коридоре. Солидный учитель со страшной внушительной кокардой на фуражке остановил меня и поставил тоже в очередь, т.е. в ряды. Пришли в столовую обедать. Но мне не до обеда. Мне до смерти хочется оправиться. Я встаю за столом и прошусь выйти. Опять нельзя. И тут случилось неизбежное. Когда я потом прибежал в уборную и

У III

заперся в одном номере, то был в нерешительности: что же мне теперь делать? Бросить бельё в дырку уборной, — жалко; оставить — страшно, — узнают школьники и проходу не будет. Но вот моё долгое пребывание в уборной одним школьником было замечено. Началась стукотня в дверь моего номера, угрозы — отпри! — и прочее. Я не отворяю. Уже собралась целая шайка угрожающих. Я всё не отпираю дверь. Сижу, как пойманный мышонок. И вдруг о ужас: кто то уже взбирается на верх. Взобрался и отпер моё убежище. Несчастье моё обнаружено. И мгновенно с быстротою молнии разнеслась весть по всей бурсе о моём несчастье. Буквально нигде проходу мне не было. И что ужаснее всего, — я нигде даже скрыться не мог, везде меня находили. За моё несчастье в глазах моих преследователей я был хуже самой наизапаршивелой и затравленной собачёнки. Вот уже прошло 35 лет, а я и теперь не могу забыть, что значит побывать среди злых школьников в шкуре презренного пария. Быть может и без этого случая я не важно учился бы в бурсе, но после него мне ещё тяжелее стало учиться. Я остался на второй год в пригготовительном классе. На второй год было уже несколько легче учиться, но по арифметике я по прежнему был плох. Насколько мне трудно давалась арифметика можно судить потому, что такие дни, как понедельник, среда, пятница и по настоящее время кажутся непонятными днями потому только лишь, что тогда в эти дни была арифметика. Арифметика старших классов казалась мне верхом человеческой премудрости. И это просто странно, это какой то каприз, какая то прихоть, какое то чудачество со стороны судьбы по отношению того, который в последствии взялся за разрешение неизмеримо более хитрой задачи в области механики, чем простые арифметические задачи. Если есть какие либо высшие, т.е. высококультурные существа, которые наблюдают нашу жизнь, то им наблюдение данной жизни очевидно доставляет такое же наслаждение, как например для меня игра знаменитого виртуоза скрипача Яна Кубэлика. Эти капризы и чудачества судьбы по отношению данной жизни это именно настолько же виртуозная игра, как игра Кубэлика. Я был настолько плох по арифметике, что даже и на второй год имел круглые два и, конечно, имел переэкзаменовку. Я даже примирился с мыслью, что не учиться мне дальше пригготовительного класса бурсы. Не знаю, каким чудом я выдержал переэкзаменовку. Я сам себе искренно удивлялся, как это мне впервые удалось самостоя-

тельно решить задачу. Очевидно и на этот раз судьба сотворила со мной нечто такое же невероятное и чудесное, как при поступлении в бурсу. Помню, вот я уже благополучно выдержал переэкзаменовку и уже нахожусь среди школьников I-го класса, гляжу на школьницкие игры, на их весёлый беззаботный характер, гляжу и сам себе удивляюсь: вот веселятся и чего то радуются даже и те, которые не выдержали переэкзаменовку, а я вот выдержал и одинаково мне почему-то не весело, я только наблюдаю, смотрю на играющих школьников, а сам не играю. И это созерцательное настроение понятным становится: ему причиной та участь презренного пария, какую я перенёс на своих детских плечах в первые дни учёбы в бурсе. Эта участь наложила неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь, она поневоле заставляла меня задумываться над всеми трудностями в моей жизни. Я и без того обладал необычной для моего возраста способностью задумываться (замечание учителя на экзамене при поступлении в бурсу), после же этого такой способностью я ещё в большей степени стал обладать.

Два года сидел я и в первом классе. Хуже всего давалась всё та-же арифметика. Также худо давались грамматика и правописание. Во втором классе сверх ожидания просидел только год. Зато в третьем классе опять застрял. В 4-м классе опять каким то чудом просидел только год. И того 8 лет просидел в бурсе. Впечатление создавалось самое невыгодное о моих способностях в познании наук. Оболтус — вот откровенная характеристика. Мне стыдно было за себя. Мог ли бы кто пророчить, что в голове этого оболтуса могут зародиться какие либо оригинальные своеобразные мысли? Всё что угодно можно было допустить на свете, но только не это. Почему второй спорщик так был и уверен в своей правоте. Но первый спорщик всё таки на что то надеялся. Он осторожно и многозначительно говорил: а может быть в нём скрыто зерно жемчужины? На что второй только лишь иронически усмехался. Казалось, второй спорщик вполне был прав. Его игра, казалось вполне была им выиграна. И правда: чего можно было-бы ожидать от оболтуса? Мог ли он при таких успехах в познании наук рассчитывать дальше учиться, например в духовной семинарии? Что угодно можно было бы предположить, но только не это, т.к. при поступлении в духовную семинарию надо было держать экзамен и какой экзамен? — экзамен настолько строгий, что например из наших пинских бурсаков хорошо

X

было, если поступала не только половина, а хотя бы даже треть или четверть; остальные же проваливались. То мог ли стопроцентный оболтус надеяться хотя бы понюхать чтонибудь из среднего образования? Да ни в коем случае. Разве какого-нибудь чуда надо было ожидать, но какого-же? И однако-же нечто вроде чуда и на этот раз случилось: в 905-м году родился царский наследник, а с ним родилась и возможность поступления в семинарию без обычного экзамена. И так неожиданно, сверх ожидания, оказалось, что оболтус учится даже в семинарии, он тоже может, если не получить, то хоть понюхать среднее образование. Второй спорщик говорил: ну что-же поступить поступил в семинарию, а долго ли он там продержится? Значит ли из этого, что этот оболтус окончит семинарию? И правда, пророчить это диво редко какой пророк взялся бы, т.к. семинария если не экзаменом, то другим путём отлично добрую половину, а то и две трети поступивших школьников умела просеивать. В одном первом классе из одного нормального и другого параллельного (и это всё битком было набито: в нормальном до 50, а в параллельном до 30) в следующий второй класс пропускалось меньше половины; остальные школьники либо оставались на второй год, либо увольнялись к концу учебного года. Затем немного застревало в 3-м 4-м классах. Так что хорошо, если даже одна четверть оканчивала семинарию. Однакоже с оболтусом в семинарии было почему то не то. В семинарии ему было много и много легче учиться, чем в бурсе. Два года он просидел только в первом классе и то не из за малоуспешности в учёбе, а из за глаз: на правом глазе у него назревал так называемый катаракт, состоящий в потемнении хрусталика, т.е. самого зрачка; нужна была операция, а чтоб сделать операцию, надо дать возможность созреть катаракту; врач запретил заниматься и таким образом пришлось остаться на второй год. Впоследствии и это худо оказалось не без добра: оно спасло ему жизнь в немецкую войну: из-за плохого правого глаза он не был взят на военную службу.

Как странно: теперь пугалом уже не была математика, как это было в бурсе; нелюбимым предметом теперь уже была проклятая латынь; это из за нея главнейшие заминки были в моей учёбе в семинарии. Я любил такие предметы, или вернее давались мне такие предметы, в которых из прочитанных 10 страниц можно пересказать в страницах 2-х. Такими были почти все предметы, за исключением

латинского и греческого языка. Космография — это уже в 4-м классе, — была самым любимым моим предметом. Во, какие страсти и прихоти судьбы! Ведь космография это та-же математика, которая была для меня страшным пугалом в бурсе, и вот наконец это пугало стало даже любимым предметом. Этого мало: в голове оболтуса стало даже как бы нечто зарождаться; так в ученическом сочинении о свободе воли бывший оболтус начинает защищать свои взгляды. Его более всего интересовал и возмущал вопрос о вечных загробных мучениях, связанных со свободой воли. На них то и обрушился юный птенец, за что ему немало же и досталось от преподавателя фило-софии: все поля ученического сочинения были испещрены злобно-шипящими негодующими репликами преподавателя за неслыханную дер-зость какого то молокососа, осмелившегося в ученическом сочи-нении высказывать свои вольнодумные мысли. Бал — единица. Юный птенец, за то, что он пробовал летать на крыльях мысли, жестоко избит и кем же избит? — своею же матерью, учителем летания на крыльях мысли. После этого у юного птенца даже охота отпала ле-тать. Второй спорщик был прав: никаких крыльев у этого оболтуса не было и не могло быть. Так ему и надо. Но вот в шестом классе обрезанные и опалённые крылья юного птенца опять начинают рас-правляться: на слова проповеди "стражду во пламени сем" опалён-ный птенец высказался так, что огорошил самого преподавателя. Это была настоящая диссертация, написанная, как сам преподава-тель подчеркнул и заметил "с воодушевлением и усердием достойным лучшей участи".

Далее начинается уже новое повествование в моей жизни, — дальше начинаются уже страницы изобретательской жизни.

Ещё в 5-м классе семинарии в самый разгар экзаменской стра-ды вдруг вихрем зароились в моей голове попытки нахождения дарс-вой энергии путём использования силы земного притяжения. В науке это называется вечным двигателем (перпетуум мобиле). Помню, пер-вая попытка (мать всех последующих попыток) созрела 30 мая 1913 года (по старому стилю). Предстоял экзамен по какому-то обличи-тельному или практическому богословию. За один день надо было пройти всё то, что училось в течение года. Значит ясно, что надо дорожить временем, дорожить каждой минуткой. А я... я обдумывал свою попытку устройства самодвигателя. Даже у самого экзаменатор-ского стола и то я обдумывал не то, что мне надо отвечать по

богословию, а обдумывал свою попытку. На столько я отдался новой идее. Я тогда уже знал, что такое изобретение считается безнадежным. Но у меня почему то было недоверие к такому взгляду. Думалось: мало ли что отрицают? Вот хотя бы взять аэроплан; думали, что человек не может летать на крыльях, а оказалось, что может; так может быть и тут. Думают, что не возможен такой двигатель, а быть может окажется, что возможен, — так я урезонивал себя. Но однако главнейшим резонансом не это было, а то обилие, настоящий вихрь, неизсякаемый поток всевозможных комбинаций, нахлынувших в мою голову, — вот что мне было порукой в том, что рано или поздно мне так удастся расставить сети, что неизбежно поймается искомое решение наихитрейшей из задач в области механики. Конечно, меня не мало огорчало и повергало в уныние и отчаяние то, что почти что каждая попытка рано или поздно раскритиковывалась мною. Но на счастье всегда рождалась одна, а то даже и несколько новых попыток вслед за смертью старых, прежних попыток; поэтому то я и не мог отдаваться такому отчаянию, чтоб совершенно отказаться от своей затеи. Этим объясняется, почему я в течение более, чем 20 лет имел такое удивительное терпение биться над таким безнадежным делом, как моё. Сколько за это время созрело и раскритиковалось самых наихитроумнейших умпостроений, — это только мне одному известно. Одну попытку вечного двигателя придумать не легко. Раскритиковать же, найти в ней слабые стороны, ошибку, — ещё не легче. Придумать же и раскритиковать тысячи наихитроумнейших попыток это — колоссальная работа ума. Лучшей тренировки для развития логики и придумать нельзя. А что значит натренированная логика это я понял и оценил только в последствии. Натренированная логика это тот-же микроскоп, который сможет разглядеть то, что недоступно для области ненатренированной логики. Натренированная логика этот тот-же компас, который может помочь выбраться на истинную дорогу. Не знаю, удастся мне или нет записать в моём журнале хотя бы главнейшие лучшие мои мысли, какими я обязан главным образом этой моей наилучшей школе, моему наилучшему учителю — вечному двигателю, натренировавшему мою логику.

Необходимо хоть вскользь упомянуть о моей, так сказать, домашней жизни, которой, к сожалению или к счастью у меня не было. Почти с 7 лет я начал жить по чужим семьям. На 5-м году умерла

XIII

мать. Крёстный же был бездетным; по этой причине он и взял меня к себе и выучил читать по славянски. Года с три я пожил у крёстного. Как вдруг, точно с неба свалился мой дядя, монах, который и дал мне возможность получить среднее образование. Где-же я проводил каникулярное время? Начиная с тех пор, как попovich начал репетировать в бурсу, я жил каникулярное время в семье священника, жил на правах будущего зятя: трёхлетняя Катюша, младшая дочь священника, предназначалась мне в невесты. Подобное родство было уже не новостью: сын сидельца, Федя, только что окончивший духовную семинарию и помолвленный на средней Маше, тоже, как и я, на таких же правах, жил у священника. Значит на меня смотрели в семье священника, как на второго Федю. Только теперь меня крайне поражает и удивляет: почему такое родство, как моё, ими легко допускалось? Ведь мой отец почти что нищий. Это раз. Другое: они же ясно видели, что я представлял из себя: и прескверно учился, и крайне недалёким выглядел. И такого — в зятя прочить. Это просто удивительно, честное слово. Да если бы невесты были уродами, — тогда дело другое, а то нет, невесты красавицы, что надо. Непонятно, честное слово. Это если не чудо, то во всяком случае удивительная странность, почти прихоть, чудачество, каприз со стороны судьбы по отношению меня.

С третьего класса бурсы каникулярное время я стал проводить уже в семье о.Фёдора, бывшего Феди тоже на правах будущего зятя; ведь Катюша приходилась сестрою матушке Марии Ивановне бывшей Маше. Почти до окончания духовной семинарии я пользовался гостеприимством о.Фёдора, с семьёй которого я настолько сжился, что был совершенно, как родной и свой. Но вот о.Фёдор со всей своей семьёй переводится в другую губернию. Конец гостеприимству. С этих пор и начинается моё скитание. Уезжая в другую губернию о.Фёдор однакоже почему-то не заикнулся о том, что мол Вася по прежнему приезжал каникулами к нам. Что ж бы это значило? Оказалось, что я не благодарен: я ни малейшего вида не подавал, что собираюсь породниться с ними. Первую мою любовь на их же глазах я пережил не с Катюшей, а с Любой ихней дальней родственницей. Я оказался неблагодарным и этой неблагодарности я каким то чудом не сознавал и не замечал. Со стороны же заметно было и, конечно, не могло не охладить наши добрые отношения с семьёй о.Фёдора. Ещё также надо упомянуть и о том; собирался ли я идти по той

дороге, какая мне предназначалась по образованию? Нет, даже и не думал об этом. А ведь я то для того и учился и пользовался гостеприимством в семье о.Фёдора, чтоб пойти по дороге священства. Удивительно, как это я тогда ухитрялся не замечать того, чего казалось-бы нельзя было не замечать. Неужели же и тут судьба сыграла свою роль? Недаром-же я точно чего-то ждал, что вот-вот что-то должно случиться в моей жизни и это что то должно определить мою жизнь. Это я особенно почувствовал в 4-м и 5-ом классах семинарии. И действительно 30-е мая 913 года и было тем, что определило мою жизнь: я стал на путь изобретателя, а с этим сами собою решились и те вопросы, которых я каким то чудом ухитрялся незамечать. Становилось ясным, что во священство не пойду и не надо идти; не женюсь и не надо жениться. т.к. изобретателю это является одной лишь помехой. Недаром же я ответил отказом и другой невесте. Помню, как то раз в 6-м классе получаю письмо. — От кого это? — с удивлением думаю. В то время письма я ни от кого не ожидал. И вдруг оказалось, что одна знакомая барышня, дочь благочинного, сама предлагает себя в невесты. Письмо было написано мне, а не комунибудь почище меня. Как же, интересная, оригинальная и развитая барышня и вдруг осмелилась на такой необычный поступок! Как же я ответил? Ответил так, что к сожалению теперь у меня есть другая невеста, это одна идея, которой я решил посвятить свою жизнь. И посвятил.

По окончанию духовной семинарии мне пришлось пока устроиться в земской управе дабы было чем жить и существовать. Но в мечтах я не так собирался устроиться. В мечтах я собирался устроиться сельским учителем, а в большие каникулы отдаваться изобретательству. Мечтал скопить 200 рублей и купить цимермановскую гитару и в свободные минуты от изобретательства совершенствоваться на гитаре, которой порою немало увлекался. Однако этим скромным мечтам не суждено было сбыться: их нарушила война. Еслиб не правый художий глаз, то не миновать бы мне фронта. Выходит, что художий правый глаз спас мою жизнь для дальнейшего изобретательства.

В 1915 году по причине близости фронта управа эвакуировалась в Москву, куда и я эвакуировался; но служить в управе я не стал больше: я всецело отдался своему двигателю, отдался нахлынувшим попыткам, которые как вихрь налетели на мою голову. Был

такой наплыв всевозможных комбинаций, что я просто сам себе поражался и удивлялся: откуда что берётся. На какие же средства я жил? У меня был дядин пятисотрублёвый выигрышный билет, продав его я ухитрился жить до тех пор, пока не был взят на военную службу даже с таким худым правым глазом как мой. Для караульной службы годились и такие глаза. И с тех пор по самый 922-й год я был в караульной службе. Странно, что иной даже проныра и пролаза не мог попасть в караульную команду, а меня както сама судьба туда толкала.

Как ни худо было в красной армии, а всё же жилой угол был, паёк кое какой был; жить пополам с грехом можно было. Но по демобилизации из красной армии я лишился и этого немногачо. — Хоть бы где умирать было! — с тоской думал я, когда очутился в таком положении, что даже негде голову приклонить. Меня беспомощного и непрактичного такие вопросы более пугали и страшили, чем казнь. О что казнь! Казнь в такие минуты казалась желанной долею. Уж на что безотрадная доля умирать голодной смертью, но если нет уголка даже и для такой смерти, то что же может быть хуже такой доли? И в такой доле я очутился по демобилизации из красной армии в Москве. Помню, собирая на помойках набережной всевозможные отбросы вроде селёдочных головок, картофельных очисток и тому подобное, я отправился по набережной за Храм Христа Спасителя в надежде найти в изобилии речных ракушек дабы ими питаться. Вот уже пошли отлогие берега. Казалось, — места самые подходящие для ракушек. Стал искать, но увы, их и здесь не было. Разочарованный и огорчённый возвращаюсь обратно. Не доходя до москворецкого моста около будки "Общество спасания на водах" сел отдохнуть на одну опрокинутую вверх дном лодку. И вот зародилась мысль: а почему бы не переночевать здесь? Переночевал. Правда, лодочник обнаружил утром моё присутствие и прогнал. Думаю: это из под хорошей лодки лодочник выгнал, из под старой лодки может быть не выгонит. Так и сделал. И стех пор ночевал под старой лодкой целое лето.

(Продолжение в следующем номере)

ХУІ

ЖУРНАЛ ВАСИЛИЯ РАДЗЕВИЧА

Украинская идилия

И мий батько и твий батько
Влизлы в гарбузыньє:
Намлысь як быки
Поклалысь на боки.

Моя автобиография (продолжение)

Питаться же приходилось теми отбросами, какие удавалось находить на помойках набережной. Когда же узнал о существовании по соседству фруктового рынка "Болото", где в изобилии валялись целые кучи гнилых фруктов, я стал завсегдатаем его. Умереть голодной смертью я уже не мог. На Болоте можно было насобирать и грибов, конечно, червивых, несколько картошин, дров также; всё это я тащил к лодке и варил суп. Благодаря лодке много завелось у меня знакомств и много было обещаний устроить мою судьбу, но все эти обещания так и остались обещаниями. Вот уже лето на исходе, а я всё ещё под лодкой. Но вот ещё хуже: лодочник гонит меня из под лодки. Что делать? К счастью на днях одна компания катающихся на лодке наткнулась на меня, разговорилась, заинтересовалась и на мою бедность пожертвовала 4 миллиона совзнаками, что то около 4-х рублей по тому времени. Эту сумму я и решил уплатить лодочнику, дабы моё убогое жилище считалось моим. Лодочник согласился. И я был несказанно счастлив, что на худой конец всё же есть угол, где бы можно было умереть. Но вот в скором времени меня арестовывают как бродягу; таскают то в МУР, то в отделение милиции, то в нарсуд. Наконец я свободен. Мне настрого запрещено жить под лодкой, т.к. лодка - не жилой угол, в лодке нельзя прописаться на жительство. Я украдкой стараюсь переночевать под лодкой хоть одну ночь. Особенно боюсь лодочника. Он мало того, что прогонит, ещё избьёт меня. Боюсь встречи с ним, как огня. Но лежать под лодкой не выносимо; кажется, вот-вот лодочник заглянет под лодку и со словами "а бродяга, ты опять здесь" с кулаками набросится. Я не мог долее скрываться под лодкой, вылез и пошёл по берегу за храм Христа Спасителя отыскивать удобное местечко для землянки. Осмотрел берега, но подходящего места для землянки не нашёл. Опять вернулся под лодку. На другой день я занялся писанием заявлений в разные места и учреждения с прось-

ХУІІ

бой устроиться. Между прочим вспомнил обещание одного участкового (А.И.Денисов) устроить меня караульным в одном военном учреждении. Я и к нему написал заявление, несколько не надеясь на успех. Но к счастью на этот раз хоть единственное обещание за всё лето увенчалось успехом: 4-го сентября я устроился в караульной команде солидного военного учреждения МОУВУЗ по Никольской улице дом № 6. Настоящим дворцом показалось караульное помещение после моего убогого жилища лодки. Теперь я сыт, обут, одет. Исправно несую караульную службу и я счастлив. Счастлив, но не на долго; вдруг пошли зловещие слухи: начали поговаривать о сокращении штата караульной команды. Меня как громом поразила эта вестъ. И верно, в скором времени наша караульная команда на человек 5 убавилась. К счастью для меня я пока не попал в число сокращённых. Но вот ещё хуже: в самый разгар зимы ликвидируется даже всё учреждение МОУВУЗ. К 1-му января должны быть ликвидированы все склады, а караульная команда распущена. И верно: караульная команда распущена. Из складов остались пока неликвидованными только два склада. Я один продолжал охранять склады. Но склады ни сегодня - завтра ликвидируются, а там что? - Хоть бы умирать где было! - с тоскою думаю. И однажды развешивая на чердаке стиранное бельё явилась счастливая мысль: вот где на худой конец можно умирать! И как я несказанно обрадовался даже такому исходу, даже повеселел я, настолько, значит, угнетала меня мысль о жилом угле. К счастью кое как я дотянул до лета, а летом опять посчастливилось устроиться. На месте ликвидированного МОУВУЗа образовалось новое учреждение. Управление домами РСФСР. Это учреждение отдавало под аренду непманам помещения по Никольской улице. Сюда-то в качестве посыльного и журналиста и поступил я с окладом жалования сначала 3, а затем 4 червонца в месяц. За месяцев 7 - 8 я сэкономил про чёрный день около 12 червонцев, которые кстати и пригодились. Вскоре вышла из за дров неприятность у меня с комендантом, неприятность такая, что я даже слёг и незаметно для посторонних голодовкой пробовал покончить с собой. Но довести голодовку до конца не удалось. Что то соблазнило меня остаться жить, хорошо не помню, что именно соблазнило. Скорее всего, какая нибудь новая попытка моего двигателя. Это была моя первая попытка умереть голодной смертью. Суток 4 - 5 проголодал. Немилосердная жажда более всего давала знать себя.

ХУІІІ

Впоследствии подобным голодовкам и счёта не было. Проголодать 3 - 4 суток - сущие пустяки. Гораздо труднее проголодать 7 - 8 - 10 - 12 суток. Не кушать - пустяки, но терпеть жажду невыносимо.

Сбережение моё очень кстати пригодилось: я на эти 12 червонцев просуществовал что-то около 4-х годов, ухитряясь напоследок жить на 3 - 4х рублях в месяц. Но вот наконец кончилось моё сбережение. Голодаю. Проголодал суток 5. Уже совсем приготовился к смерти. Даже письма были отправлены с извещением, что по получении их автора уже не будет в живых. Но к счастью или к несчастью один знакомый шофёр, Николай Александрович Морев, помешал мне голодовку довести до конца: он дал знать в Карету скорой помощи. Правда, ещё и другие обстоятельства способствовали спасению моей жизни: Не помеха спасла мне жизнь, а то, что мне удалось кое-что продать - гитару, балалайку, запасную английскую шинель, да плюс к тому один безнадёжный должник отдал долг; всего собралось около 45 рублей, на которые я ещё просуществовал с год. Казалось, теперь уже конец. Больше нечего продать: последнее пальто не было смысла продавать. 10 - 12, ну пусть 15 рублей меня надолго не устроили бы. И так повидимому конец. Однакоже неожиданный исход всё же нашёлся. Этим исходом оказалась не служба какаянибудь. О нет, о службе мне нечего и думать. Более практичным людям и то трудно было устроиться, мне же нечего и помышлять. Припомнить только какие в ту пору мытарства надо было пройти в самой главной так сказать мышеловке, это в бирже труда. Надо было кучу иметь всяких бумажек, рекомендаций, словом через эту мышеловку мог пролезть только пролаза, но не я непрактичнейший и беспомощнейший человек в мире. Какой же однако нашёлся исход? - Винные бутылки, - вот какой исход. Я жил в одной квартире с возчиками, с бывшими сослуживцами по РВСР. Их весёлые пирушки и были для меня спасением. Винные бутылки после их пирушки оставались в мою пользу. Аккурат хватало на чёрный хлеб в месяц. С возчиками я достаточно хорошо сжил-ся и был с ними в наилучших отношениях. Если бы они захотели меня выжить из квартиры, то выжили бы в два счёта, но не выживали, потому что мы жили, как родные братья. Жилой площади за мной не числилось, я жил на их площади, т.е. это значит, что за квартиру в домоуправление платить мне не приходилось. Только за свет

XIX

и за воду с меня что то причиталось, но и это немного причитающееся за мной платилось моими сожителями, платилось за то, что я, так сказать, был безотлучным сторожем квартиры, что моим сожителям, конечно, было на руку. Итак моих расходов только и было, что на покупку чёрного хлеба, на баню два раза в месяц, да на письменные принадлежности, — всего что то около 3 — 4-х рублей в месяц. Жить можно. Ливу и продолжаю биться над своим двигателем. Вот помню я затеял устройство модели. Была одна такая новая и главное настолько простая попытка, что, казалось можно самому построить модель. Строчу. Не удалась: в модели много неточностей. Надо перестроить. Перестраиваю. Работы предстоит почти на целый месяц. И вдруг несчастье, да такое несчастье, какого никак не ожидал: управдом выселяет или вернее выживает меня из квартиры. Нашу комнату управдом посулил каким то своим знакомым, возчиков же задумал перевести в другую квартиру, в какую то маленькую тесную комнатку. Я же, конечно, оставался без жилого угла. Но ребята мои упёрлись: не хотят переходить; упёрлись больше из за меня. Без меня они пополам с грехом кое как вместились бы, со мной же страшно тесно. Без меня же перемещаться это значило меня выбросить на улицу. Ребята на это не согласны. И упёрлись: нежелают перемещаться. Управдом подал в нарсуд о нашем выселении. Помню, вот уже повестка пришла: через два дня или три надо являться на суд. Как же быть с перестроенной модели? Работы оставалось ещё много, почти на недели две. И тут то я задумал во что бы то ни стало закончить модель ко дню суда и с нею же явиться на суд, чтоб воочию показать судьям, кто я: вор ли, спекулянт, хитрованец, как окрещивал меня управдом, или на самом деле изобретатель. Управдом с тревогой следил, как я лихорадочно стараюсь закончить модель очевидно ко дню суда; он чуял, угадывал мои угрозы. Вот остаётся ещё один день до суда. Работы по перестройке модели ещё на добрую неделю, а я... я пытаюсь за один день окончить. Встаю чуть свет и ложусь в глубокую полночь. Почти ничего не ем. И всё таки убеждаюсь, что при всём желании, при всех сверхчеловеческих усилиях нельзя закончить модель ко дню суда. Что делать? И вдруг о радость: управдом сообщает, что суд ликвидирован. Он ясно видел, что ничего не выйдет даже с судом и дабы чего доброго самому не оскандалиться на суде он решил благоразумно пре-

кратить судебную тяжбу. Когда я узнал с такой неожиданной новостью, то, конечно, тут же приостановил работу по перестройке модели; и удивительно: я вдруг мгновенно так страшно ослабел, что тут же свалился, как сноп, от изнеможения, т.к. кончилось то напряжение, каким я старался поддержать свою энергию. И так ребята отстояли меня. Зато управдом ещё больше прежнего стал зол на меня. Теперь понятно, почему я оказался тоже в списке жильцов, лишённых избирательных прав. Он так аттестовал меня, что избирательная комиссия без всякого труда нашла возможным меня лишить избирательных прав. А я... я только гордо кивнув головой промолвил: этот позор ещё больше украсит мою биографию. Но вот в скором времени последовало такое несчастье, выхода из которого, казалось, совершенно не было никакого: как лишённый избирательных прав я лишон был права питаться. Что делать? Какой тут мог быть выход? Казалось, никакого. Крышка, конец и только. И всё же и тут нашёлся выход: я стал у моих сожителей чем то в роли закупщика провизии и повара. Они извозничают до 4 часов. А ведь им надо и в кооператив сходить, и в очередях постоять, затем надо время, чтоб и изготовить. На всё это нужно время и время, а его то у них и не было. Вот эти то обязанности и были возложены на меня. Я и в очередях постою и сготовлю, словом стал поваром. По рецепту одного знаменитого повара Мандреанова я стал готовить щи. И я даже недурно научился их готовить. Научился разбираться в сортах мяса. Понял, какую важную роль играют томат, лук, морковь, говяжий жир. Готовя ребятам щи я и себе кое что из отбросов мог приготовить. Картофель с каким нибудь пятнышком считался браком ребятами. Для них брак, а для меня... для меня такого брака было бы до смерти: большего я и не хотел бы. Затем вода после митя мяса; для ребят это пустая вода, а для меня далеко не пустая; во всяком случае много лучше, питательнее простой воды. И так я мог себе приготовить суп или же щи. Так же и с хлебом: те негодные остатки, какие ребятами выбрасывались в помойное ведро для меня великолепным образом шли в дело. И так я опять могу жить и биться над своим делом. Казалось, больше неоткуда ожидать новой беды. Но нет, доброго не жди, а худа сколько угодно. Новая беда оказалась угрозой выселения из Москвы всех лишенцев. На эту угрозу я тоже гордо ответил: скорее труп мой выселят, но только не меня живого! Я надеялся на письма из научных отделов, которые явно свидетельствовали, кто я. И правда,

при первом и втором выселении лишенцев из Москвы эти письма сыграли свою роль, я остался в Москве, но при третьем выселении осенью 30-го года эта метла и меня не пожалела. Побывал в Таганке и даже в знаменитой Бутырке. Тюрьма, тюрьма, какое слово, она позорна и страшна; но для меня тюрьма иное слово: тюрьма раем показалась для меня после моей изобретательской жизни. В тюрьме я даже поправился, пополнел, что со мною редко бывало. Только в Вологодской тюрьме отошал, т.к. на всём земном шаре есть две страшные тюрьмы: это в Вологде и в Вятке. Что касается такого комфорта, что там прегрязно, а зимой прехолодно, настолько холодно, что например на нижних нарах вода замерзает, а на верхних нарах хоть несколько теплее, зато тьма там клопов, то для меня не привыкшего к роскоши это ещё не худо, это ещё терпимо. Но вот истинное худо, жуть, кошмар, это — шпана. Хуже даже голодовки. Голодать мне не впервые, но быть вместе со шпаной, слышать их жуткие разговоры, — это для меня впервые. К счастью я был точно в тумане, в забытьи и мало обращал внимания на жуткую шпану. Я с самого ареста был в таком состоянии, что казалось, вот-вот где нибудь упаду и даже вставать не стану, пусть, что хотят делают со мною; лучше умру; ни пить, ни есть, ни двигаться не стану покаместь не умру. И это было моё твёрдое решение так именно поступить. Не знаю почему только отклонялось мною выполнение данного намерения; очевидно поджидал подходящего момента; всё казалось: ещё успею. И тут дотянул до тех пор, пока не сообщили мне, что я свободен, что к 5 января 31 года я должен явиться на место моей ссылки в село Кубенское Кубеноозёрского района северного края в 30 километрах от Вологды. И это когда у меня ни единой копейки денег и почти босиком, — в истоптанных лаптях поверх разбитых валенок и в жестокий мороз. За полдня, пусть за день можно пройти 30 километров. Но ведь идти надо с утра, а не на ночь. Меня же тюрьма выпустила на ночь. Только тогда я понял и оценил, что значит хотя бы и такой жилой угол, как Вологодская тюрьма, когда почти в 20 местах было отказано в ночёвке. Уже полночь, а я всё ещё брожу по улицам Вологды в поисках где бы переночевать. Такое же отчаяние охватило душу, как бывает в лесу, когда заблудишься и ясно видишь, что не выйдешь на дорогу. О с какой любовью я мечтал в эти минуты о тюрьме хотя бы Вологодской! Разве идти на вокзал, но вокзал, говорят на ночь запирается. Но вот в одном

месте меня уверяют, что на вокзале можно переночевать. Хочется верить, т.к. готов даже за соломинку ухватиться. Иду, спрашиваю дорогу на вокзал. Вот спрашиваю у одной старушки, как ближе пройти к вокзалу, что негде мол переночевать. И вдруг узнаю, что там шпана, что там разденут изобьют и на снег выбросят. Я конечно, не пошёл. Я своими глазами видел шпану и слова старушки несколько не удивили меня. Бродил-бродил и всё таки решил пойти на вокзал: будь что будет. Пришёл и о радость, о счастье: там я увидел и остальных своих коллег по несчастью: они с деньгами и то не смогли лучше устроиться. Шпаны, конечно, немало было на вокзале, но всё же открытого грабежа, как пугала меня старушка, не было. Переночевал и наутро отправился в путь дорогу, оправился без единой копейки денег, в разбитых лаптях, отправился голодный и ослабевший. На что я мог надеяться тогда? Не знаю. Я даже не мог переночевать в Доме Крестьянина, т.к. ни копейки денег не было. То мог ли я надеяться на что либо? Правда, мечталось, что хорошо было бы поступить куданибудь в колхоз или в совхоз на какуюнибудь подходящую работу, но на какую именно, вот вопрос. Я и так не обладал физической силой; на этот же раз ослабевший от голода я и подавно не мог годиться даже на самую простую работу. И к тому же, как на несчастье, в тюрьме повредил спину; как то раз взялся нести парашу; параша оказалась очень тяжёлой; только взялся, приподнял, и вдруг что-то точно переломилось в спине. И с тех пор я даже нагнуться немог, не то что поднимать какуюнибудь тяжесть хотя бы даже с полпуда. Значит, нечего и думать мечтать устроиться на какуюнибудь физическую работу. Но мне всё же думалось: а что, если поступить в такой колхоз или совхоз, где имеются мастерские. Немного подучусь и со своею добросовестностью я там желанным человеком стану. К тому же мне говорили, что там, куда я иду, есть такой колхоз и совхоз, где имеются мастерские, — вот что окрыляло меня. Но я уверен был, что сразу поступить в такой колхоз или совхоз не так то легко; придётся, как обычно водится, обождать. — Придётся тогда-то! Явишься, а там опять: " через такое то время наведайтесь". Словом жди, но как ждать, когда у меня ни копейки денег? А может быть даже на полпути разбитые лапти свалятся с ног, что тогда делать? А тут мороз, да ещё с ветром. Счастье, что ветер дул не в лицо, а в спину. Иду по верстовой дороге, дабы не

сбиться с пути. На столбах цифры, обозначено, сколько пройдено и сколько осталось. Пройёл почти полпути. К счастью лапти пока ещё держатся на ногах, но вот-вот готовы свалиться. Иду медленно, осторожно, озяб так, что трудно даже говорить. Ехать было бы ещё хуже, — холоднее. Удивительно, никто не попадаетея по дороге, точно вся жизнь вымерла, замёрзла. Но вот из оврага показалась заиндивевшая лошадиная голова, затем сами и наконец возница. Он ехал напротив ветра. И почти с изумлением смотрю на это единственное живое существо. И как должно быть он озяб! Лицо у него багровое точно окаменевшее и застывшее от стужи и как оно казалось загадочным в своей окаменелости; точно какой то призрак бесшумно пропыл пред моими изумлёнными глазами, проплыл и исчез. Я один в пути среди стужи. По дороге тянется словно кустарник. Вот в кустах зашуршала прошлогодняя трава. И тут только со всею ясностью и очевидностью понял я своё безнадежное положение. О с какою величайшей отрадой я лучше пошёл бы на казнь, чем в эту неизвестность! Это шуршание засохшей ненужной травы напоминало, говорило мне, что моя жизнь тоже такая же ненужная, засохшая, как эта прошлогодняя трава.

Вот подхожу к месту ссылки. Вёрст с 5 ещё осталось. Я еле плетусь. Много путников нагнало и перегнало меня. Даже дряхлые старушки и те опережают меня. Вот и ещё один путник нагоняет меня. Тоже перегонит, — думаю. Но нет, он замедляет ход и поравнявшись со мною, что то спрашивает у меня. Я с трудом ответил настолько озяб. Разговорились. Оказывается, он тоже высланный. Студент московский. Он на несколько дней раньше меня сюда прибыл. В настоящее время ищет, куда бы устроиться. Ходил в одно место и вот возвращается ни с чем. — Значит, трудно устроиться? — спрашиваю. — Да, очень трудно, — ответил тот. — А я... я без копейки денег. Даже одну ночь переночевать в Доме Крестьянина не на что. Как же мне тогда устроиться? — Это не рот, не губы проговорили, это само отчаяние, горе проговорило. Это страшный вопль вопиющего в пустыне, вопль самый безотрадный, беспомощный как шуршание прошлогодней травы вопль, в котором ни искорки проблеска на чтонибудь лучшее. И вдруг о чудо, о счастье невероятное: мой спутник сам предлагает услуги: он будет платить за мой ночлег пока не устроюсь, а когда устроюсь отдам. Ночёвка в Доме Крестьянина в то время стоила 15 копеек за ночь на нарах.

Порция обеда 25 копеек, порция чаю что-то около 10 - 12 копеек. Я был несказанно благодарен моему спасителю. Никогда не забуду его имени и фамилии: Юрий Георгиевич Гальперин. Я не особенно стал спрашивать его, за что он выслан, зная по себе, как нелегко об этом рассказывать. Кажется, он также, как и я был сослан на три года. В скором времени в одной школе он устроился преподавателем математики. Мне тоже посчастливилось устроиться в большом совхозе Куркино. Я выразился: посчастливилось устроиться. О горькая ирония судьбы! Мы зачастую сами себе не даём отчёта в том, что мы называем счастьем. Помню, уже несколько раз безуспешно побывал в конторе Кубенского колхоза "Наш Путь". Чуть-чуть было не предложили мне остаться работать на паровой мельнице, но когда узнали, что я не могу таскать мешки, отказали. Пробовал пошататься по слесарным мастерским. Но заново учить ни одна мастерская не бралась. Вот узнал о существовании большого совхоза Куркино, у которого тоже были свои мастерские. До Куркина недалеко, - вёрст 7 от Кубенска, но для меня с разбитыми лаптями это расстояние казалось настоящей пропастью. Лапти мои еле-еле держались на ногах. Всё же 8-го января я рискнул попробовать пройти непроходимую для меня пропасть. Но что, если лапти на полпути свалятся с ног, что тогда делать? Это раз. Другое: положим и примут меня на какую нибудь подходящую для меня работу, но разве сразу примут? Что, если скажут понаведайся тогда то. Придётся, а они опять: придёшь через столько то деньков. Риск, большой риск! И вот отправился. Медленно-медленно иду почти волоча ноги. Один лапоть до смерти пугал меня: вот-вот свалится окончательно. Уже несколько раз сваливался, но кое как удавалось опять прикрепить. К полдню всё же дошёл до Куркино. Вот я уже в конторе совхоза. Меня выслушивает заместитель директора агроном Захаров. Видно Захаров понял по интонации моего голоса, что я переживаю. Я показываю ему насвой разбитые лапти, говорю, что назад мне уже немисливо дойти до Кубенска. И о радость, счастье: я принят. Работа - молотьба главным образом, пилка дров. Плата рубль в день. В совхозе есть и общежитие для рабочих, но в виду переполнения людьми Захаров направил меня в людскую, куда рабочие собираются для выслушивания нарядов на работу. Там помещаются кучер, скотник. В людской уютно и тепло, много лучше, чем в общежитии. Мне завидуют остальные. Захаров

повидимому благоволил мне. Он даже авансом дал на обед, на хлеб. Хлеба можно было купить кило. Обед — мясные щи и каша, стоит около 25 или 28 копеек, хорошо не помню; но главное хорошо то, что можно было получить аванс для питания. Я счастлив. Вот вечером в людскую собрались несколько рабочих поболтать. Вслушиваюсь в их разговор. И тут только понял я, куда я попал и что я посчитал за счастье: рабочие работают, как волы, голые и кругом в долгу. Получают в месяц 30 рублей, а расходы свыше 40 рублей. При отчёте остаются пред конторой в долгу на рублём 15 и более. Ну, долги меня не страшат! — думаю. Насчёт экономии я настоящий виртуоз. Но, как вол таскать мешки, это... это сразу повергло меня в отчаяние: я был точно приговорённый к смертной казни. Впрочем такое сравнение далеко и далеко не подходит. Наоборот, я с отрадою, с великой радостью согласился бы лучше идти на казнь, чем быть в той участи, какая мне предстояла. Мне тяжело даже полпуда поднять, хуже того, с трудом могу нагнуться, так болит спина от проклятой параша, а тут придётся таскать мешки. Безотрадная то была ночь. Утреннего разсвета я ожидал, как казни. И вот наконец рабочие собрались в людскую для выслушивания наряда. Я такую гнетущую тоску переживаю, точно на меня давят 1000 атмосфер. Нахожусь на такой границе удручённого состояния, когда сидишь, точно одеревенелый, точно в каком-то забытьё, тумане, когда видишь и точно не видишь, слышишь и точно не слышишь, ничем не удивишь и незаинтересуешь, всё безразлично. Но вот вдруг шевельнулась мысль: спросить у когонибудь, как идти на работу, когда у меня совершенно лапти разбиты и в тоже время отлично каждому известно, что обуви нет никакой. И тут мне просто сказали: попросись на такую работу, где меньше ходьбы, например, пилить дрова. О с какою отрадою я ухватился за этот спасительный исход. Я попросился на пилку дров и был назначен на эту работу. От радости я гимны пою в душе восходящему солнцу, суровой красоте северной природы. Стоял мороз свыше 20 градусов. Деревья, кусты, брёвна, и всё-всё заиндивело. Сердце тоскливо сжимается, глядя на эту стужу. Кто же глянет на мои разбитые лапти, только ахнет. А небо! небо какое бесподобное в такой мороз. Именно только в морозные дни бывает такое небо. Пилю. К счастью хоть рваные, а всё же есть кое какие рукавицы. По дороге из Вологды нашёл детскую шубную плохенькую рукавицу. О как она мне теперь

кстати пригодилась! Без нея я и подумать немогу, как бы я мог пилить дрова. От II до I2 часов дня перерыв на обед. В 4 часа конец всем работам. Да утром 4 часа работы. Итого 8 часов. Пилить хорошо хорошей пилой, но и то устаёшь. Пилить же тупой пилой, да ещё толстые брёвна, это чрезвычайно изнурительная работа. Острая пила не надолго, — на часа два. Затем тупится. Под конец совершенно не берёт. К вечеру я так уставал, что как я ни голоден был, но придя с работы я, как сноп валялся на своё место ночёвки. Во время обеда я поедал все остатки, какие оставались после рабочих и всё есть хотелось, настолько я изголодался со времени заточения в Вологодскую тюрьму. И тем не менее не смотря на такой неутолимый аппетит, вечером я не мог даже пройти несколько шагов в столовую настолько я уставал на пилке дров. Думал: лучше отдыхать и быть голодным, чем тащиться в столовую. Казалось, после такой усталости я должен мертвецки уснуть. Нетут то было. Тут только лёжа на постели поневоле приходилось самому себе давать отчёт о своём положении. Думаю: ну ладно, сегодня мне посчастливилось устроиться на пилку дров, а завтра как? А что, если завтра назначат таскать мешки? И опять ждёшь, как казни утреннего разсвета... И вот наконец разсвет. Собираются рабочие. Вот слушают наряд. Я как ни жив ни мёртв. — Чистяков и Радзевич пилка дров — слышу. О с какой отрадой, с каким счастьем я выслушиваю это простое но в высшей степени радостное для меня известие. А вечером... вечером опять еле живой от смертельной усталости, как сноп валюсь на постель не думая даже об утолении того страшного аппетита, каким я к несчастью в ту пору обладал. А ночью... ночью опять, как казни ожидал разсвета. И так в течение всего месяца. И это мы называем счастьем. Помню, как то раз вечером на всеобщем собрании рабочих, которое происходило в людской, рабочие взяли в страшный переплёт хозяйственницу Черкасову. Она мне почемуто с первого взгляда не понравилась. Но на собрании мне жаль её было, так рабочие взяли её в переплёт. А на другой день утром меня чего то зовёт к себе директор. — Может быть насчёт обуви? — думаю. — Хорошо бы. Вот купил в Кубенске новые лапти и уже совсем развалились. Хорошо бы очень даже котати получить какуюнибудь обувь. И вдруг выслушиваю такой ультиматум от директора: — "чтоб к I2 часам вашего же и духу здесь не было. Берите расчёт и марш на все четы-

XXVII

ре стороны, а иначе велю арестовать". Оказалось, что хозяйственница Черкасова посчитала меня главным виновником того, что рабочие взяли её в переплёт, мол это всё наагитировал вон тот очкастый выскленец. Она то и настояла, чтоб меня прогнали из совхоза. Как в столбняке и в тумане я выслушал неожиданную новость. Получил расчёт. Что то около 18 рублей оставалось наличными после всех взятых авансов. Меня даже не радовали деньги. У других долга оставалось столько, сколько я получил наличными. И однако это меня нисколько не радовало. К чему мне теперь деньги? Всё равно умирать голодной смертью. Деньги останутся. Я даже наметил уголок, который должен приютить меня на последние 12 - 15 дней, это в низу у печи так называемого сушила, для которого я целый месяц пилил дрова. Внизу около печки в укромном местечке хорошо будет умирать. Но потом раздумал: а вдруг обнаружат моё присутствие и выгонят. Ещё хуже будет. Нет, сушило не годится. Лучше пойду в Кубенский Дом Крестьянина, уплачу за две недели ночлега на нарах, благо деньги есть, голодовку доведу до конца и крышка. И я решил, что деньги далеко не лишние. Но вот беда с обувью. Новые лапти совершенно развалились. Я в унынии, в отчаянии, как быть? Но вот взглянул на тряпье из старых разорванных на заплаты мешков и подумал: а что если ими обмотать ноги, прикрепить шпагатом, то может быть какнибудь дойду до Кубенска? И я даже повеселел от такой счастливой мысли. Собрался и отправился в путь. Уходя глянул на сушило в последний раз посмотрел на него, мысленно поблагодарил за то что, как никак приютил меня, дал возможность заработать, что ни раз заходил погреться его благодетельным теплом, да наконец может быть я ещё и вернусь сюда коротать предсмертные минуты, если почему либо не удастся с ночлегом устроиться в Кубенске. Дорогою я несколько уклонился в сторону, дал крюка на лишние версты с три. Ну, всё равно, какнибудь зайду. Мне показалось, что дорога как будто бы знакомая, как будто бы это та же дорога, по которой я шёл из Вологды. Точь в точь такие же кусты с сухой прошлогодней травой. На этот раз также морозно было и с ветром. Трава и на этот раз также шелестела как тот раз по дороге из Вологды. Я вспомнил, какие безотрадные мысли были тогда навеяны этим шелестом. И тут то я со всей ясностью и отчётливостью увидел, понял и осознал, как никогда ещё так не сознавал всю безотрадную участь своей незавидной жизни. Точно от физической боли я застонал: о мать, мать родная,

XXVIII

ЖУРНАЛ: ВАСИЛИЯ РАДЗЕВИЧА

для чего, зачем наградила меня такой неудачной жизнью? Ах, какая жаль! какая жаль, что я ещё трёхлетним ребёнком не сгорел во пламени. Знать ты своим материнским сердцем предчувствовала незавидную долю твоего меньшого сына. Знать ты не спроста обрекла его пламени. Ах какая жаль, какая жаль, что я тогда не погиб во пламени! Помню, проходил я мимо церкви с какими то постройками. Это была не деревня и даже не хутор, а простое деревенское кладбище, называлось оно очень красиво и поэтично. Братское. О как деревья и кусты Братского выглядели бесподобно! Небо, деревья, кусты, старая церковь! Что это? Неужели судьба нарочно толкнула меня дать крика на лишние три версты, чтоб полюбоваться этой бесподобной красотой северной природы? Да, бесподобно! — вскользь взглянув подумал я; но мне... мне в данную минуту не до красоты. Я иду умирать. Иду и стараюсь не глядеть, но точно какая то неведомая сила влечёт, тянет, манит, просит, умоляет: взгляни ещё разок, полюбуйся, может быть ещё не всё утеряно. О несчастный взгляни же. Но гляжу. Достаточно и того, что мельком взглянул. Иду в Кубенское. Пришёл. Купил новые лапти. Сходил на почту и послал переводом Крию Георгиевичу Гальперину долг 3 рубля. Затем пришёл в дом Крестьянина. Как родным показался мне Дом Крестьянина, который должен приютить меня в последние минуты моей жизни. Только огорчило меня, что не берут плату сразу за две недели вперёд. На одну ночь ежедневно можно сколько угодно. Вот уже двое суток проголодал. Слабость, как на диво прогрессирует. Я даже радуюсь. Скорее — конец, тем лучше значит. Но вот под вечер влетает заведующий и гонит всех ночлежников на том основании, что помещение занимается какими то курсантами. У меня был куплен талон на ночлег. Неужели же пропадать талону? И я не долго думая юркнул под нары. Никому не видно и незаметно там моего присутствия. Лежу и даже радуюсь, что так просто и хорошо устроился. Вот пришли и разместились курсанты, какая то военная молодёжь. Все нары заняты, а под нары брошены винтовки. Я гляжу на мою соседку и думаю: может быть с патронами? А что не попытаться ли ускорить неизбежный конец? Однако, что даже страшно для меня кажется: меня почему-то нисколько не тянет к такому исходу. Почему то голодная смерть лучшей казалась. Повеситься, застрелиться, отравиться, зарезаться, утопиться это всё какая то некрасивая, безобразная смерть, это всё натуральное

самоубийство; а вот умереть голодной смертью это как будто бы нечто уже иное, не совсем похоже на самоубийство, на то самоубийство, которое всегда считалось и очевидно и будет считаться преступлением против своей совести. Вот пожалуй почему я всегда в труднейшие минуты своей жизни помышлял не о простом обыкновенном самоубийстве, а о голодной смерти; думалось: что-ж это не моя вина, если у меня отнимается возможность жить. Я живу покуда возможно жить. Поэтому то перспектива застрелиться из винтовки не особенно прельщала меня. Это натуральное самоубийство, позор для совести. И так лежу под нарами и терпеливо жду смерти. Но вот страшное затруднение: как быть, когда до смерти хочется оправиться, например помочиться? То не страшно. Я знаю, что то кончится запором. Но вот мочиться—то как? Пробую терпеть покуда возможно. Но вот наконец невыносимо больше терпеть: моча помаленьку сама начинает струиться. Что делать? Я отползаю неслышно в сторону и мочусь на пол. Потом опять неслышно приползаю на прежнее место. Но вдруг о ужас: лужица змейкой потекла дальше и дальше и все заметили лужицу. Но к счастью эту лужицу приписали потению окна, мол замёрзшее окно вспотело, оттаяло и в результате получилась лужица. Я спокоен, чуть даже не смеюсь. Значит, мне даже весело умирать под нарами. Но вот вдруг — и это ещё жутче и страшнее... хочется чихнуть, кашлянуть. Пробую удержаться. Но чувствую, что не в силах. Закрываю рот шапкой, сумкой, держусь что есть мочи. Ох боже мой, что мне делать? Не выдержу! Наконец не выдерживаю и кашляю в шапку, в сумку. Сошло благополучно. Среди шума и гама незаметным оказалось моё кашлянье. Ну, думаю с радостью, если этот номер прошёл, то остальное пустяки. Но не тут то было: утром — это уже четвёртые иль пятые сутки голодовки, хорошо не помню, моё присутствие под нарами было замечено: один курсант сквозь щёлочку в нарах заметил меня. Мигом меня извлекли оттуда, обшарили, арестовали и отправили к уполномоченному ИТУ. Пришлось рассказывать всё без утайки. Уполномоченный выслушав меня ничего не сказал. Он повидимому сочувствовал мне. Я свободен от ареста. Но меня не радует такой исход. Мне лучше было бы сидеть за решёткой. Как ни как, а всё же жилой угол. Боже мой, даже умирать негде! — со всей горечью сам себе говорю. Я опять иду в Дом Крестьянина уже в чайную, хоть там посидеть, погреться. Узнал между прочим, что Гальперину тоже не повезло: ему отказали

XXXX

ЖУРНАЛ · ВАСИЛИЯ РАДЗЕВИЧА

в преподавательстве. От всей души я ему сочувствовал. Жалел, почему я больше не послал переводом, чем 3 рубля. Но вот узнал, что есть ещё помимо Дома Крестьянина постоянный двор, где тоже можно переночевать. Я обрадовался и пошёл отыскивать. Нашёл. Прошусь, нельзя ли переночевать? Нельзя. Почему? Потому что выселенец. Я стал чуть не со слезами умолять. Уломались, дали талон, но вечером заставили другой талон взять, мол то дневной талон, а это ночной. Не важно, я уплотил ещё 15 копеек и переночевал. Затем другую, третью ночь переночевал уже без дневного талона. Бывшая хозяйка постоялого двора теперь же официантка разговорилась со мной, посочувствовала, угостила чем-то съедобным и разрешила мне ночевать каждую ночь на постоялом дворе. Вскоре даже и платы от меня не брала. Я же в благодарность стал по утрам из своей полки караулить самовары, кассу, помогал подметать избу. Питался хоть не регулярно каждый день, но всё же кое как жил. Главное то, что жилой угол был. Пробовал голодовку начинать, но дольше 3 - 4 суток голодовка не затягивалась: либо хозяйка, либо ещё ктонибудь угостит и конец моей голодовке. Тогда я набравшись сил брёл в столовую Дома Крестьянина, где изредка также ктонибудь чемнибудь угощал. Но ходил я в столовую главным образом из за обедков. Удивительно, какую уйму я съедал. Щи пустые, невкусные мало кем съедались и услужливые руки протягивали недоеденное мне. Тарелки со щами тянутся со всех сторон. Даже изредка попадались остатки и второго, кусочек лепёшки, хлеба. Всё это я съедал. Наедался до того, что с трудом дышалось. Ну, думаю наелся на суток 3 - 4 и опять иду на постоянный двор. Ежедневно ходить в столовую я решил, что не стоит, т.к. могу надоесть и перестанут пускать. Столовая же была для меня главным питательным пунктом. Понятно, почему я дорожил этим пунктом. И всё же, как я ни был осторожен, наконец случилось то, чего я побаивался. Однажды один энергичный молодой человек в кожаной куртке, очевидно из Кубенских служащих, из сотрудников, как их окрещивают, только взглянул на меня уже намеревающегося воспользоваться одними обедками, моментально встал со своего стула и исчез, а через минутку меня уже вытолкали на улицу. Если же я чаще надоедал, то эта участь ещё скорее настала бы, а то почти с месяц сходило благополучно. Теперь ещё больше голодать приходилось. Правда, была где-то лавочка, в которой выселенцам отпус-

калось несколько килограммов муки. И попробовал было поколачивать пороги, но плюнул и махнул рукой. Даже перестал думать о лавочке. И как назло, когда поиздержались деньги, узнаю, что в лавочке виселенцам уже не мука выдаётся, а печёный хлеб. Несколько пайков всё же удалось выхлопотать, кажется на недели две или три, а за дня три-четыре успел скушать. Что значит 300 грамм для изголодавшегося? Теперь уже приходилось жить больше случайными подачками на постоялом дворе: заметит кто либо из сердобольных, поймёт, почему ты еле-еле стоишь на ногах, сжалятся и даст кусок хлеба. Как то раз был настолько голоден, что собирал горстями тут же рассыпанный овёс и жевал, жевал до усталости, до боли и с горечью думал: значит, еслиб волю было овса, то тоже мало толку было бы, т.к. трудно жевать. Вот уже весна настала. Тает снег, земля оголяется. У меня намерение было пока ещё стоит зима просто упасть куданибудь в сугроб снега и замерзнуть. Но почему то со дня на день всё откладывал такое решение; думалось, ещё успею. Поэтому не особенно радостно встречал весну, я с тревогой замечал, как ежедневно исчезал тот снег, который мог принести мне вечное успокоение. Вот уже настала пасха и даже жаркие дни. Все заговорили об озере. Куда идёшь? — На озеро. — Где был? — На озере, — слышишь почти на каждом шагу. Собрался и я на озеро главным образом посмотреть чаек. Чайки... с этим словом у меня связано воспоминание о далёком-далёком детстве. До странного удивительно: почему так убийственно тянулись годы? Мне только шёл 43-й год, а казалось, что я существую 42 сотни лет. Детство казалось настолько далёким, точно оно происходило в допотоптное время. Помню, это было тогда, когда я остался на второй год в подготовительном классе бурсы. Отметки в билете преневоможные; единица даже по пению, по чистописанию. Я оставлен на второй год. И вдруг летом приходит письмо от дяди из Киева: он жалуется меня видеть, посмотреть, что из себя представляю, стоит ли меня учить. Еду с той сестрой Ганцзей, которая трёхлетним схватила меня из пылающей избы. По летам мне уже 12-й год, а по развитию я каким-то чудом остаюсь всё тем же трёхлетним ребёнком, точно и впрямь я сгорел во пламени. И таким трёхлетним и застыл на веки. Однакоже сознавать, что я своими невозможными успехами не порадую дядю, это я чувствовал и сознавал глубже, чем даже взрослый. С этой стороны природа наделила меня щедрее щедрого.

Еду пароходом. До Киева далеко, трое суток езды. О ещё далеко до Киева! — с отрадою думаю. Порою забудусь, куда я еду и ничего, даже засмотрюсь на чтонибудь. Но вдруг спохватишься, вспомнишь, куда едешь и всё-всё, на что ни глянешь, что ни услышишь, мгновенно преобразается в что то необычайно таинственное, загадочное, непонятное, что то тягостное, удручающее такое, что ни за какие блага и сокровища мира незахотел бы пережить и в то же время наряду с этим как бы что то в высшей степени отрадное, словами невыра-



СУМЕРКИ

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

НОМЕР



СУМЕРКИ

ЭТАЖЕРКА



112

Анатолий
Александров
о Тихоне
Мурзилке



Н. С. Т.

Тихон Васильевич Чурилин родился 17 мая 1885 года в Лебедяни. Здесь, "среди тамбовских полей, в славном шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев"¹, и прошло детство будущего поэта.

О своих родителях Чурилин с большой откровенностью писал в биографической записке, составленной им, скорее всего, в начале тридцатых годов. "По закону сын купца, водочника — складчика — трактирщика. По факту — сын провизора, служащего, еврея, незаконнорожденный, выб...ядок".² Поэт далее вспоминал, что мать, лебедянская мещанка, "любила только моего действительного физического отца (по фамилии — Тишнер — А.А.), бросившего и предавшего её. Никогда не любила мужа, Чурилина. Любила и сына, Тихона, поэта и нервного до 5000 ампер, Тихона-дурачка, сумасшедшего, жида и урод".³ Семейные ссоры довели мать Чурилина до безумия и преждевременной смерти. С четырёх лет мальчик был отдан на воспитание няни, "бывшей крепостной, — писал Чурилин, — вышивальщице ковров, любовнице барина, жившей у местных тузов и дворян. Няня любила по-своему, таскала по церквям и монастырям".⁴

Впоследствии провинциальный лебедянский быт и мрачное детство в доме трактирщика Чурилин изобразил в "российской комедии" (как сам автор определил жанр произведения) — прозаическом повествовании "Тяпкотань".

В документе, под названием "биографопроизводственная анкета", Чурилин писал, что с 9 лет он "прислуживал в церкви, читал вслух шестипсалмие".⁵

¹ Замятин Е. Автобиография // Замятин Е. Избранные произведения. М., 1989. С.38. Замятин был также уроженец Лебедяни.

² Чурилин Т. Биографические данные. ЦГАЛИ. Ф. 1222, оп.1, ед. хр.4. Л. 1.

^{3,4} Там же. Л. 1.

⁵ Чурилин. Т. Биографопроизводственная анкета. ЦГАЛИ. Ф. 1222, оп.1, ед. хр. 4, Л.2.

В 1905 году Чурилин поступил на медицинский факультет Московского университета. Проучившись некоторое время, оставил его и в 1907 году поступил уже в Московский коммерческий институт, но и в нём пробыл недолго.

Первые стихи, как признавался Чурилин в "анкете", он начал писать в девятнадцать лет. Первая публикация – в 1908 году, стихотворение "Мотивы" в приложении к "Пиве" (7 июля).

В 1908 – 1909 годы Чурилин жил за границей (Лозанна, Берлин, Париж). В 1909 году, возвратившись в Россию, он был помещён в психиатрическую больницу – за "оскорбление жандармского офицера", как лаконично объяснил в "анкете" поэт.¹ В больнице он находился с 1909 по 1912 годы.

В 1915 году в издательстве "Альциона" вышла первая книга стихов Чурилина "Весна после смерти". Её отметил в журнале "Аполлон", в обзоре стихотворных новинок, Николай Гумилёв. Он писал, что литературно Чурилин "связан с Андреем Белым и – отдаленнее – с кубофутуристами".² "Тема его – констатировал обозреватель "Аполлона", – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший".³

В 1916 году состоялось знакомство Чурилина с Мариной Цветаевой, высоко ценившей его творчество.⁴ Исследователь дореволюционной поэзии Цветаевой находит в ней отзвуки экспрессивной чурилинской ритмики.⁵

¹ Чурилин. Т. Биографо-производственная анкета. ЦГАЛИ. Ф. 1222, оп. 1, ед. хр. 4, л. 2.

^{2, 3} Гумилёв Н.С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923, с. 205.

⁴ См.: Цветаева И. Наталья Гончарова (жизнь и творчество) // Прометей. Историко-биографический альманах. М., 1969. Т. 7. С. 152.

⁵ См.: Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества. (1910 – 1922). М., 1986. С. 91–93.

В 1918 году в издательстве "Лирень" вышла "Вторая книга стихов" Чурилина, посвящённая Г.Петникову. Дружеские отношения с этим поэтом, пропагандистом футуристических книг и идей, Чурилин сохранил до конца своих дней.

В этом же издательстве и всё в том же 1918 году появилась и "полная повесть" (как сказано в подзаголовке) Чурилина — "Конец Кикапу", римическая проза о похоронах в "мёртвом совершенно городе, некогда крепости караимской" Кикапу — "мёртвого Пиерро, Кикапу кромешного". Этот персонаж принёс автору известность в литературных кругах.

К 1918 году относится и краткая запись в "биографопроизводственной анкете": "Избран в число 317 Предземшара".

В гражданскую войну Чурилин находился в Крыму. Здесь им была подготовлена третья книга стихов, так и оставшаяся неизданной. 16 ноября 1920 года Чурилин — вместе с женой, художницей Б.И. Корвин-Каменской и учёным-натуралистом, поэтом Львом Аренсом — написал от имени "молодых окраинных мозгопашцев" манифест, приветствуя вступление Красной Армии в Крым.¹ Чурилин принял участие и в помощи голодающим Крыма. Он и его жена были в числе тех, кто подготовили сборник "Помощь" (Симферополь, 1922). В сборник помимо публицистического материала вошли стихи М.Волошина, А. Герцык, Б.Пастернака.

"В 1920 году, — писал Чурилин в "анкете", — отказ от поэзии. Перерыв на 12 лет. Работа по теории коммунистической культуры, искусства. Начало в 1931 году возвра́та к поэзии. Книги: "Жар-Мизнь" (4-я), "Тяпкотань".² В черновой редакции письма к М.Горькому имеется некоторое разъяснение этого "перерыва": "...три года жестокой болезни (психоневроз, цинга после крымского голода и подполья)".³

¹ См.: Аренс А., Чурилин Т., Корвин-Каменская Б. М.О.М. Молодые Окраинные Мозгопашцы. Воззв и Зов // ЦГАЛИ. Ф. 1222, оп.1, ед. хр. 7.

² Чурилин Т. Биографопроизводственная анкета. Л.3.

³ Чурилин Т. Письмо к М.Горькому (б.д.) // ГПБ. Ф. 1294, ед. хр. 18. Л. 2-3.

Сборник песен "Жар-Жизнь" и ритмизированный сатирический роман о провинциальном быте старой России "Тяпкотань", над которым Чурилин работал с 1933 по 1935 годы, не были изданы.

Весну 1935 года Чурилин провёл в Ленинграде. 11 мая 1935 года¹ в Ленинградском Доме писателей состоялся литературный вечер Чурилина по случаю его пятидесятилетия. Вёл встречу Б.М. Эйхенбаум. Вечер прошёл с большим успехом. Автор читал отрывки из "Тяпкотани". "И как я читал! - вспоминал позднее свой триумф Чурилин. - Аж древняя переводчица Ибсена старушка Ганзен - и то изрекла: "Не понимаю я в этой новой прозе и стихах, а вот артист гениальный в нём пропадает!" А речь професс. Эйхенбаума о том, что вот А.Белый, идя от Гоголя и Лескова, попал в тупик языка и форм, а Тихон Чурилин продолжил гениальное наследие в замечательном по языку, форме и образу произведении, творчески самостоятельном и ценнейшем!!!"²

Подобные вечера были редким событием в жизни поэта. Литературная работа не приносила ему заработка, жил он на грани нищеты. О его бедственном положении говорится и в коллективном письме в редакцию "Правды" от деятелей культуры. "Стихи Тихона Чурилина не печатаются, - сообщалось в письме. - Издательства с ним не работают, литературные организации уделяют ему мало внимания. ... Мы, представители советской интеллигенции, обращаемся через "Правду" к советской общественности с просьбой помочь настоящему поэту, который живёт сейчас очень тяжело и, несмотря на это, не теряет оптимизма, бодрости и энтузиазма".³

Трудно сказать, подействовало ли это письмо на чиновников от культуры. Жить Чурилину легче не стало.

¹ Эта дата указана на машинописной программе вечера (ЦГАЛИ). Сам Чурилин в письме к Л.Аренсу от 7 апреля 1944 г. называет её месяцем раньше: 11 апреля 1935 года. / См.: Чурилин Т. письмо к Л.Аренсу от 7 апреля 1944 года // Сумерки № 10+1. СПб. = 1990. С.32.

² Там же. С.32.

³ Цаплин Л., Цаплина Т., Тихонов Н. (всего 22 подписи). В ЦК - товарищу Еданову. (В редакцию "Правды") // ЦГАЛИ. Ф. 1222, оп.1, ед. хр. 15. Л.1.

В 1940 году в издательстве "Советский писатель" тиражом в три тысячи экземпляров должна была выйти небольшая книга поэта под названием "Стихи Тихона Чурилина", на две трети составленная из произведений второй половины тридцатых годов. Но в самый последний момент, по словам автора, уже после выхода сигнальных экземпляров и рассылки обязательных в Публичную библиотеку в Ленинграде и библиотеку Британского музея в Лондоне, мизерный тираж был задержан (уничтожен?), книга не поступила в продажу.¹

Хотя книга не вышла в свет, рецензия на неё появилась.² Знал ли её автор об уничтожении тиража "Стихов Тихона Чурилина" или же он доверился своему безошибочному конъюнктурному нюху — сказать сейчас трудно, но рецензия получилась резкой и безапелляционной. Литературный путь Чурилина был смаху зачёркнут в ней. Автор, писал критик, "подражал всему: и позе поэта-безумца и мага, утверждённой Андреем Белым; и манерному стилизаторству Михаила Кузмина; и назойливому словотворчеству футуристов и даже северянинской романсной напевности".³

Поздние стихи Чурилина не столь интересны, как его произведения, входившие в первые три книги. Но критик, снисходительно одоблив внимание автора к народной песне — "народное" поощрялось, — всё творчество поэта объявил "ласквильянтством" и "графоманством".

В предвоенные годы Чурилин собирал материал для поэты в прозе о Константине Циолковском. В 1941 — 1944 годах жил в Москве вместе с женой ("профессиональной свитой", как он называл её).

¹ Об этом — в письмах Чурилина (см. указанное выше письмо к Л.Аренсу, а также письмо к Н.Тихонову и в правление Ленинградского отделения СП СССР: ПИБ. Ф.1294, ед. хр. 26 и 25).

² Дымшиц А. Перепутаница // "Ленинград". 1941, № 1. С.21—22.

³ Там же. С.22.

И в тридцатые, и в особенности в военные годы он сильно нуждался. Умер поэт в 1946 году (точную дату смерти ещё предстоит уточнить).¹

118

¹ Год смерти указан в статье о Чурилине, помещённой в восьмом томе ИЛЭ (автор — Леонид Чертков, литературовед и коллекционер, был хорошо осведомлён в разного рода архивных собраниях, государственных и частных, располагал редкими сведениями о хронологии русской культуры двенадцатого века).
Существует и другая датировка. "Тихон умер летом 1944 года в больнице для душевнобольных. ... Бронислава Иосифовна умерла несколькими месяцами раньше". Это писала Т.И.Сухомлина в письме к С.Прегель от 24 сентября 1968 года (опубликовано в альманахе "Черновик" 1990, № 3). Похоже на ошибку памяти, потому что в недавно изданном дневнике Т.Сухомлиной имеется запись от 21 мая 1945 года. "Вчера были у Тихона Чурилина. Он поправляется. Он лучше выглядит, и милая докторша везёт его на дачу — это именно то, что ему нужно..." (См. Лещенко — Сухомлина Татьяна. Долгое будущее. Дневник — воспоминания. М., 1991. С.237. О смерти Чурилина в опубликованном дневнике ничего не сообщается.). Несомненно, что Чурилин в 1944 году был жив, и весной 1945 тоже.

Г. Смерть принца

Ах, в одну из стычек под Нешавой
Был убит немецкий офицер,
Неприятельском державы
Славный офицер.

Схоронили гера, гера офицера, под канавой,
Без музыки,
Под глухие пушек зыки.
Где уж было, где тут было хоронить врага
со славою —
Лёг он под канавой.

Но потом — топ, топ, топ — прискакали скакуны,
Встали, выются вокруг канавы, как выюны.
Окружили,
Землю взрыли,
Тело взяли — гера, гера офицера — наперёд.
— Гей, народ!
— Гей, народы — становитесь на колени пред канавой —
Нал тут принц со славою!

Держат принца — наперёд
Тело взяли.
— Топ, топ, топ —
Поскакали даёс.

Так в одну из стычек под Нешавой
Был убит немецкий ихний младший принц,
Неприятельской державы
Славный принц.

2. Приезд принца

Народ стоит, цветной, разодетый,
Спутанный тихой тайной тенетой.
И серо-зелёной стеной солдаты,
Бритые, бритые, — и есть бородаты.

Взгремела коляска — генерал разодетый,
Стоя, проехал и двинул тенетой.
Звякнули ружья, статуи солдаты —
Лишь вект и вект флажки бородаты.

"А — ааа — а", — народ разодетый,
Взорванной, прованной двинул тенетой.
"А — ааа — а!" — Взгремели солдаты,
И хляснув, взвились флажки бородаты.

Мальчик милый — и он венценосный!!!!
Быстро промчался кучёр несносный.

3. Печальный чал

В холоде, в голоде, в полночь и в полдень
Печальный чал –
В комнате половой
Стынет свеча.

Болен хозяин, жёны и дети.
Стены изрыты, в раны одеты.
Печь полстолетья была горяча,
Ныне остыла – печальный чал!!!
Страшно, полярно сияет свеча.

Чал, да части же!.. Гости, грызите
Кости, в баранине раны сосите!
Полно, печаль, – в сени изыди!
Пчёлы печали – в зимнее сито,
В мёрзлый снег, на мокрый двор...
О, чал, рычи же, греми и визжи,
ори весь хор!!!
Сияй, свеча! –
Печальный, печальный, последний в полдень
и в полночь чал...

1917

Бахчисарай

4. Честный чай

Честный чай! — разноцветно уютное блюдо,
 Яркие пряники, френча брызжит звездой,
 Венны вина, бузы беломутной и лютой
 Едок чаю и сердца — неверный вздох:

Цок, цок, цок.
 — Цок.

И сущевом душиным душим табак
 И кружевом кручи чёрный гостей.
 Им нет новостей.

Пей да пей оковы трошничку рвану!
 Из чашевой чаши с рыданьем в нирвану
 Ахну — и стану
 Беем и ханом, до вершу пьяным!

Сентябрь 1917
 Бахчисарай

5. Ождань дождя

И травы рта утра
Утерять ни за что не хотят
Русые росы ждут: будет рай.
И на них поглядеться — хоть я.
Я — тихоольховый скрип.
Пирски пируем с ветром мы.
И силён се свисторазгуловый скреп
Наш — и ждём мы с ветками мир.
Со светлыми ветками!
Ткём мы скрипя пиры.
И дождя дожждемся, деева с детками.
С огнём и горомом пеньтесь пары
—— Оооблака!
Локоны, локоны седые.
Садись на темя огнянное яблоко,

Не пали — сады — святые.

14 мая 1918

6. Моцарт и пила

Б. Корвин-Каменской
и Льву Аренсу

У двери четыре руки
Играли Моцарта арс, —
Пылом золотой муки
Грелись лев, лань и барс.

И ласково оскаливая пыл,
Пила воздушную пыль пила.
И лай ласковый стали пел
И музыка стоокрас была.

Бела, как горозный зор
И розовый и желтый лик
Колебал бал — и лебедь зари
Стплёскивал перья великие.

И Моцарт, оцаренный пилой,
Переливался в лягг, в язвы стали —
Пел так впервой
Из зияющей дали.

24 — 25 июня 1920

7. Песня об очереди

Возвратился ночью мельник:

— Жёнка, что за сапоги?

Пушкин

О, черевья черева —
Животы, д'животы!
Череп д'череп!
Это, очередь — вот ты.

И за водкой — черёд
И за хлеб-б — булкой,
За печеньем, стоя, мрёт,
За вареньем, с сушкой!

Череда д'череда,
Понедельник, середа.
— День да месяц да года.
— Стоя, ждут, стоя, мрут,
Много их, много тут.

Возвратишься к жене
Скоро, скоро, скоро,
И увидишь близ ней
Черед, черед, — гору!

— Очередь, очередь,
О чёрт, с этим — умереть!

8. Песнь о петухе

Сахару и водки,
Хлеба, три селёдки,
Маленькие – ржавенькие, сооолненькие.
Прежде рыбки беленькие, сооолнешные!
– Дворник нам принёс,
 Бытирая нос,
Старый дворник, кулачина бывший,
А теперь водчонку лихо с нами пивший.
И за рюмкой, за двумя, за тремя,
Закурил самосад, сквозь ноздрю дым стремя,
И от водки и от дыма самосада
Разогрелся старый дворник – что и надо!
 Эх – ххха, ххха!
Выпьем, сахарцем закусим, без греха.
 Ты смеёшься, – чепуха?
А в душе то у всех вас – эн, сапуха!
 Подождите! Аж дождётесь петуха!
– Вы го жисти – трюх, трюх, трюх.
Эва! Вот зима, а сколько мух.
А придёт ваш час, да в сердцу – бух!
– В ж... у вас уклюнет жареный петух.

Примечания

Чурилин, как об этом сказано в очерке, был замечательным исполнителем своих стихов – песен, "оров", "баев". Читателю его стихов следует попробовать пропеть их, прокричать или прозвуть. "Стихи Тихона Чурилина, – справедливо утверждал их ценитель Павел Новицкий, – написаны не для произнесения. Они должны быть написаны нотами. Не для чтения, не для произнесения, но для пения".

1. Публикуется впервые. А-ф в ЦГАЛИ. Ф. 1222. Опись № 1, ед. хр. 18. Идентичный автограф – Рукописный отдел ГПБ. Ф. 1294, ед. хр. 15. Пешава – очевидно Варшава. В ходе Варшавско-Ивангородской операции осенью 1914 года немецкая армия понесла большие потери.

2. Публикуется впервые. Идентичные автографы в ЦГАЛИ (Ф. 1222, ед.хр. 18) и ГПБ (Ф. 1294, ед. хр. 15). Тенета – сеть. Здесь: невидимая связь.

3. Помощь. Художественно-литературный и научно-популярный сборник. Симферополь. 1922. Автографы: ЦГАЛИ, ГПБ. Чал – "татарский оркестр из своеобразнейших инструментов: зурна, даул, кавал, скрипок, флейт и кларнетов. Чалом также называется самое действо, музыка, игра. Игроки чала – цыгане, татары. Лучший чал был в Бахчисарае под управлением дирижёра и композитора Ашира (ныне умершего от голода). Ашир был всероссийски известен и записан на граммафонных пластинках", – примечание Т.Чурилина к отрывку из повести "Агатый ага": "Помощь", 1922, с.15).

4. Публикуется впервые. Идентичные автографы в ЦГАЛИ (Ф. 1222, ед.хр. 18) и ГПБ (Ф. 1294, ед.хр.15).

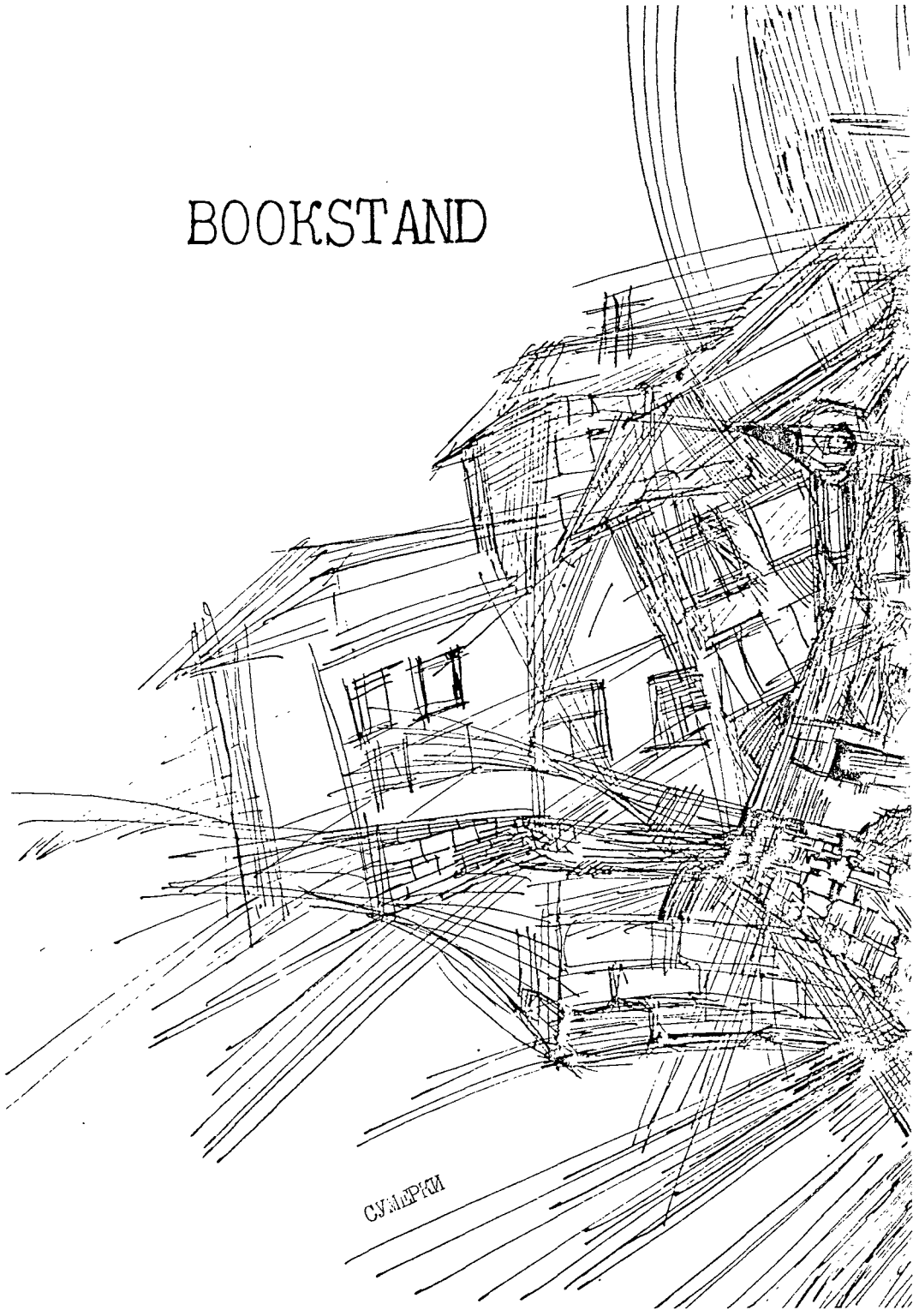
5. Публикуется впервые. А-ф в ЦГАЛИ. Ф. 1222. Опись № 1, ед. хр. 22.

6. Публикуется впервые. А-ф в ЦГАЛИ. Ф. 1222. Опись № 1, ед. хр. 22. Посвящение – жене поэта, Брониславе Иосифовне, Б.И. Корвин-Круковской и Льву Евгеньевичу Аренсу (1890–1967), натуралисту и поэту.

7. Публикуется впервые. А-ф в ЦГАЛИ. Ф. 1222. Опись № 1, ед. хр. 24.

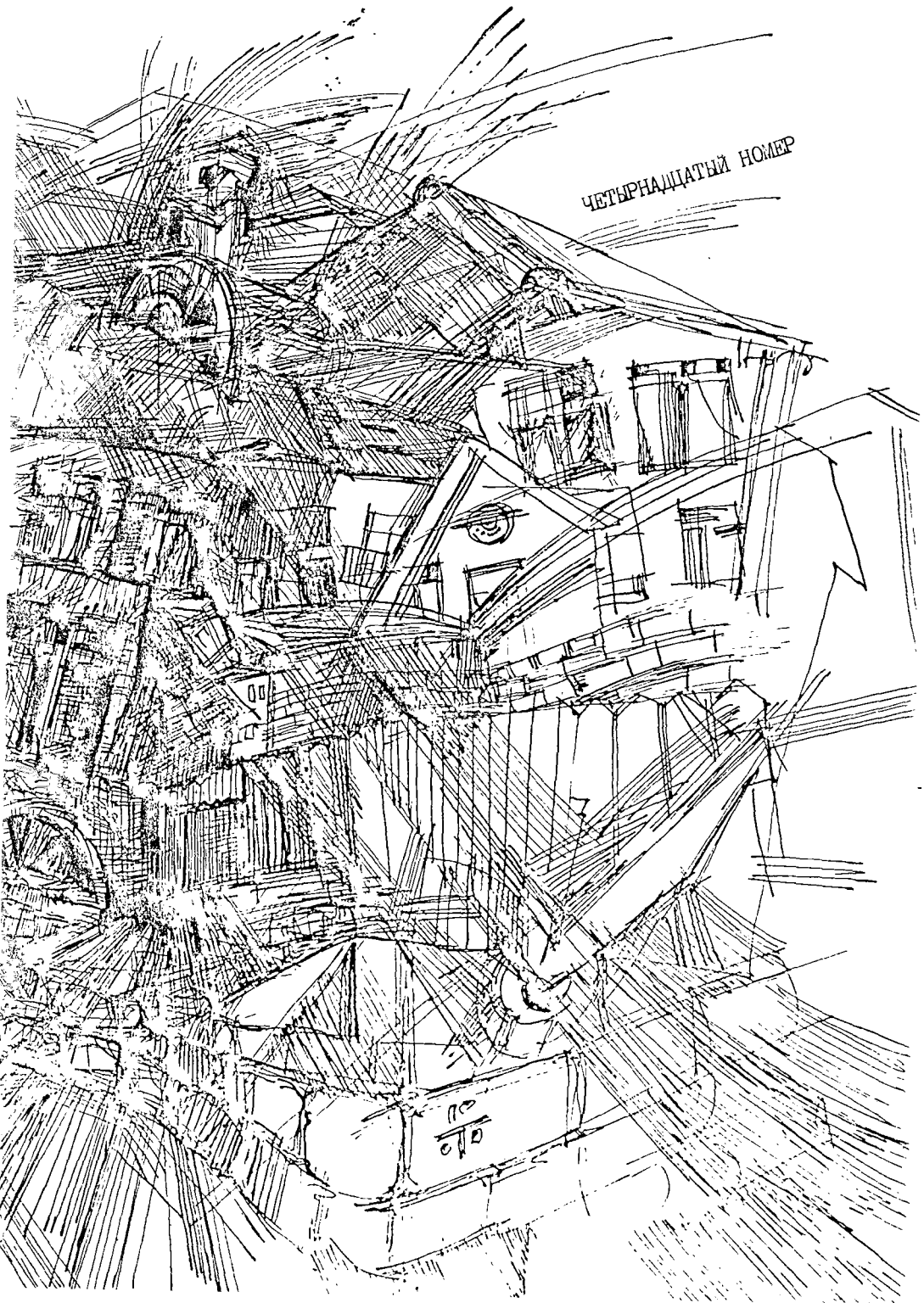
8. Публикуется впервые. А-ф в ГПБ. Ф. 1294, ед. хр. 7.

BOOKSTAND



СМЕЛКИ

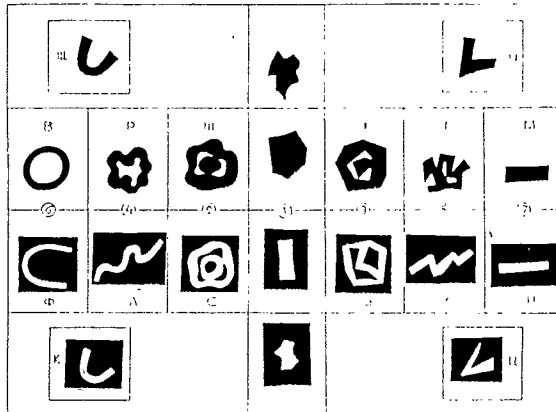
ЧЕТЫРНАДАТИЙ НОМЕР



КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ
 ДЖЕРАЛЬД ЯНЕЧЕК
 АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ

ЗАБЫТЫЙ АВАНГАРД РОССИЯ ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX СТОЛЕТИЯ

СБОРНИК СПРАВОЧНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ



КУБО-ФУТУРИСТЫ
 ЭГО-ФУТУРИСТЫ
 ФУТУРИСТЫ
 АКМЕИСТЫ
 ЦЕНТРИФУГИСТЫ
 ЗАУМНИКИ
 СУПРЕМАТИСТЫ
 НИЧЕВОКИ
 ЭКСПРЕССИОНИСТЫ
 МОСКОВСКИЙ ПАРНАС
 БИОКОСМИСТЫ
 БЕСПРЕДМЕТНИКИ
 АКЦИДЕНТИСТЫ
 КОНСТРУКТИВИСТЫ
 ВНЕ ГРУПП

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
 SONDERBAND 21

От составителей

КУБО-ФУТУРИСТЫ

Николай Бурлюк
Поэтические начала

ЭГО-ФУТУРИСТЫ

Иван Игнатьев
Василиск Гнедов
Константин Олимпов

ФУТУРИСТЫ

Николай Кульбин
Сергей Городецкий
Тот, кому дано возмущать воду
Георгий Золотухин
Георгий Ечеистов
Анатолий Фиолетов
Борис Кушнер
О звуковой стороне поэтической речи

АКМЕИСТЫ

Владимир Нарбут

ЦЕНТРИФУГИСТЫ

Божидар
Федор Платов
Гамма гласных
Евгений Шиллинг

ЗАУМНИКИ

Илья Зланевич
Игорь Терентьев
Рекорд нежности
Ольга Розанова
Варвара Степанова
Александр Туфанов
К зауми

СУПРЕМАТИСТЫ

Казимир Малевич
О поэзии

НИЧЕВОКИ

Рюрик Рок
Сусанна Мар
Владимир Филов

ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

Воззвание экспрессионистов
Ипполит Соколов
Хартия экспрессиониста
Экспрессионизм
Ренессанс XX века
Борис Земенков

МОСКОВСКИЙ ПАРНАС

Иван Аксенов
К беспорядку дня
Борис Лапин

БИОКОСМИСТЫ

Александр Ярославский
Александр Святогор
Биокосмическая поэтика

ФУИСТЫ

Борис Перелешин
Николай Лепок

БЕСПРЕДМЕТНИКИ

Нина Хабиас

АКЦИДЕНТИСТЫ

Николай Хориков

КОНСТРУКТИВИСТЫ

Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)
Илья Сельвинский
Алексей Чичерин
Кан-Фун
Корнелий Зелинский
Конструктивизм и поэзия
Вера Инбер
Иван Аксенов
О фонетическом магистрале
Александр Квятковский
Тактометр (Опыт теории стиха музыкального счета)

ВНЕ ГРУПП

Даниил Варавин
Евгений Ланн
Валентин Парнах
Татьяна Вечорка
Тихон Чурилин
Александр Штих
Александр Конге
Елачич
Тональность гласных

Чурилин Тихон - Тихон Васильевич Чурилин - род. 17 мая /ст.ст./ 1885 года в г. Лебедяни Тамбовской губ. Родители /по материнской линии/ купцы из крестьян. Русский, но по отцовской линии - еврейство. Учился в Московском Коммерческом Институте на экономическом отделении, куда поступил по окончании Лебедянской прогимназии. Самыми важными событиями в своей жизни Ч. считает "наш теперешний октябрь, подполье в Крыму, переход на общественную работу /с 20 г./ и отказ от "стихотворчества", как эстетической самоцели / с 29 г./ "Стихов больше не пишу: работаю как литкритик, теоретик художественного материализма /слово/ и главное по коммунистической культуре. Работаю также для театра /пьесы, агит-памфлет/"... Писать начал серьезно с 19 лет. Первое литературное выступление - стихотворение "Мотивы" в ежемесячном "Приложении" к журналу "Чива" за июль 1907 года. Отдельные издания: 1/ Весна после смерти /Стихи/. Изд. "Альциона" М., 1915. 2/ Льву - барс. /2-ая книга стихов/. Изд. "Лирень". М., 1918. 3/ Конец Кикапу./Повесть/. Изд. "Лирень". 1918.

Ежов и Шамурин
Русская поэзия XX века.
Антология. М., Новая Москва,
1925, с. 588-589. / в разд.:
Библиография./

Чурилин, Тихон Васильевич /5./17./У. 1885, г. Лебедянь, ныне Липецкой обл., - 1946, Москва/ - русск. сов. писатель. Учился в Моск. коммерч. ин-те и Моск. ун-те. Был актером Камерного театра. Участник Гражд. войны /в Крыму/. Как поэт выступил в 1908. Первая книга стихов "Весна после смерти" / 1915 / отмечена чертами визионерства, а также ритмическими новшествами, оказавшими влияние на поэзию М. Цветаевой. В 1916-18 Ч. сближается с футуристами. К этому времени относятся его эксперименты в ритмической прозе, насыщенной звукописью, с элементами зауми и словотворчества - "Из детства далечеаышего" /1916/, "Конец Кикапу" /1918/, "Агатовна Ага" /1922/. Стихи 30-х гг. характеризуются известным отходом от формотворчества и отчетливо социальными мотивами /сб. "Стихи", 1940/. В архиве Ч. /ИГАЛН/ сохранился роман "Тяп-кантань. Российская комедия", незавершенный роман "Гражданни Вселенной" - о К.Э. Циолковском, пьесы, стихи. Переводил с тат. и нем. языков.

Соч.: Кроткая катариса. Пощича перма. в кн.: Альманах муз, П., 1916; Вторая книга стихов, М., 1918.

Л.Чертков.

МЛР. М., 1975, т. 8, с. 563.

... Стихи Тихона Чурилина стоят на границе поэзии и чего-то очень значительного и увлекающего. Издавна повелось, что пророки вкладывают в стихи свои откровения, моралисты - свои законы, философы - свои умозаключения. Характерен факт, что почти все сумасшедшие начинают писать стихи. Всякое ценное или просто своеобразное мироощущение стремится быть выражено именно в стихах. Причины этого было бы слишком долго выяснять в этой короткой заметке. Но, конечно, это стремление в большинстве случаев не имеет никакого отношения к поэзии.

Тихон Чурилин является счастливым исключением. Литературно он связан с Андреем Белым и - отдаленнее - с кубо-футуристами. Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны. Тема его - это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время, как настоящие сумасшедшие бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы.

Побрили Кикапу - в последний раз.
Помчи Кикапу - в последний раз.
С кровавою водою таз
И волосы его
Куда-с?
Ведь вы сестра?
Побудьте с ним хоть до утра...

Тема самоубийства, как возможность уйти от невыразимого страдания жизни, тоже привлекает поэта. Ея он обязан лучшим стихотворением в книге.

Конец клерка

Перо мое, пиши, пиши,
Скрипи, скрипи в глухой тиши.
Ты, ветер осени, суши
Соль слез моих - дыши, дыши.
Перо мое скрипи, скрипи.
Ты, сердце, силы все скрепи.
Скрепись, скрепись. Скрипи, скрипи.
Перо мое, мне вещь купи.
Веселый час и моя придет -
Уяду наверх, кромешный крот,
И золотой, о злоя я мот
Отдам - и продавец возьмет.
Возьму и я ту вещь, возьму,
Прижму я к сердцу своему.
Тихонько, тихо спуск сожму,
И обрету покой и тьму.

Хочется верить, что Тихон Чурилин останется в литературе и применит свое живое ощущение слова, как материала, к менее узким и специальным темам.

Н. Гумилев. Собр. соч. в 4-х тт.,
Вашингтон, 1968, т. 1У, с. 352-354.



Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левенсон — наперекос от бывших нас, — где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю².

В первый раз я о Наталье Гончаровой — живой — услышала от Тихона Чуриллина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары. Вокзал и, особенно мною любимое — не все помню, но что помню — свято:

Как в одной из стычек под Нешавой
 Был убит германский офицер,
 Неприятельской державы
 Славный офицер.
 Где уж было, где уж было
 Хоронить врага со славой!
 Лег он — под канавой.

А потом — топ — топ — топ —

Прискакали скакуны,
 Встали, вьются вокруг канавы.

Как вьюны.
 Взняли тело герра,
 Герра офицера
 Наперед.

Гей, народ!
 Гей, наро—ды!

Становитесь на колени пред канавой,
 Пал здесь прынд — со славой.

...Так в одной из стычек под Нешавой
 Был убит немецкий, ихний, младший
 прынд.

Неприятельской державы
 Славный прынд.

Был Чуриллин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его, книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: *illustrer* — означивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальнейший смысл (означивать) — оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие — для художника³.

Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Поищемся понять, что сделала Гончарова по

² Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которую я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова — та», оказалась отпечатанной в 18-й типографии «Исполниграф», Трехпрудный пер., д. 9, т. е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова печатала свою первую книгу. (Прим. М. Цветаевой.)

³ Есть еще одно значение, мною упущенное: *illustrer* — блеск и *illustrer* — срок («доже illustrer»), т. е. тот же блеск; месяц. Откуда и *люстра*. Откуда и *Шиниг* (славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от славянского. *Illustrer* — прилагать веши блеск, сияние: сиявать. Перлюстрировать — просвечивать (как рентгеном). (Прим. М. Цветаевой.)



(Голова с заносом,
Волоса с забросом!)

отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть — первично. *Wie ich es sehe**. Словом — никогда без Германни не обойдусь — немецкое *nachdichten*†, которым у немцев заменен перевод (сводной картинки на бумагу), иного не знаю.

Стихи Чурилина — очами Гончаровой. Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется в количестве всего двухсот экз. Книжку, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может — умру,
Наверно — воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные стволы. По снегу — человек. Не бессознательный ли отяжк — мой стих 1918 г.

...На пригорке монастырь — светел
И от снега — свят.

Книга светлая и мрачная, как кино воскресшего. Что побудило Гончарову, такую молодую тогда, наклониться над этой бездной? Имели у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не во власти-лась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась и виделась — закинутая голова.

Это имя — оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я — в прошлом уже! — 1928 году летом — впервые увидела Гончарову с волос не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы — для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову — клонит.

Но одно осталось — с забросом. Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. — Настоятельница монастыря. — Молодой настоятельница. Прямота черт и взгляда, серьезность — о, не суровость! — всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка — прелестная.

Платье, глаза, волосы — в цвет. «Самый покойный из всех!»... Не серый.

Легкость походки, неслышимость ее. При этой весомости головы — почти скольжение. То же с голосом. Тишина не монашеская, всегда отдающая громами. Тишина над громами. За — громная.

Жест короткий, засушенный, человека, который занят делом.

— Моя первая встреча с вами через Чурилина, «Весна после смерти».

* Как я его вижу (и е. м.).

† Переводить вольно.

Марина Цветаева
Из статьи "Наталья Гончарова".
В альм.: Прометей. Историко-биографический альманах. М.,
1969, т. 7, с. 152-153.

... один неизвестный поэт, творчество которого может рассматриваться как "мостик", недостающее звено между Пастернаком и русской поэзией его времени. Я имею в виду его сверстника Александра Львовича Штиха / 1890-1962/, имя которого пока что появляется лишь в комментариях к Пастернаку. Штих выпустил в 1916 г. единственную книжку стихов /где самые ранние датированы 1912 г./ и участвовал в сборнике "Центрифуга" под псевдонимом "Ростовский". Практически же его творчество завершилось в 1922 г. Развиваясь совместно, они открывали подчас что-то, что после оказалось связанным только с именем Пастернака /случай в истории литературы нередкий/. Характерно, что впоследствии /по воспоминаниям брата Штиха/ Пастернак сохранил пристрастие к его вкусу, и тот был первым слушателем не только "Близнеца в тучах", но и "Поверх барьеров" и "1905 года".

Л.Чертков.


В ст.: "К вопросу о литературной генеалогии Пастернака".

В кн.: "Борис Пастернак. 1890-1960".
Париж, 1979. с.57.

Р.С. А.Л.Штих /1890-1962/ - друг Б.Пастернака с гимназических лет. А.Штих начинал как поэт, позднее стал юристом.

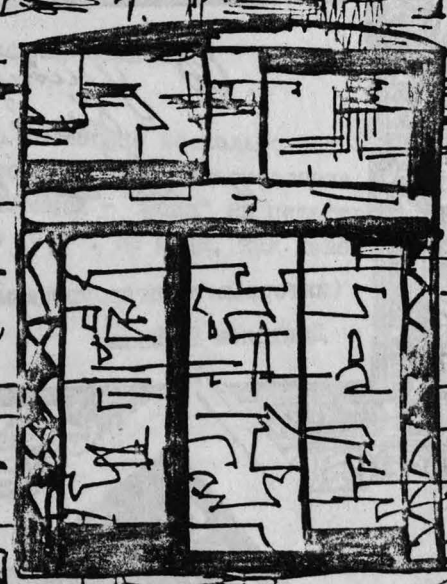
См. сноску к письму Б.Л.Пастернак - А.Л.Штиху. от 19.У11, 1912 г.

В ж. "Вопросы литературы", 1972,
№ 9, с. 143. / В разд.: Публикации,
Сообщения. Воспоминания.

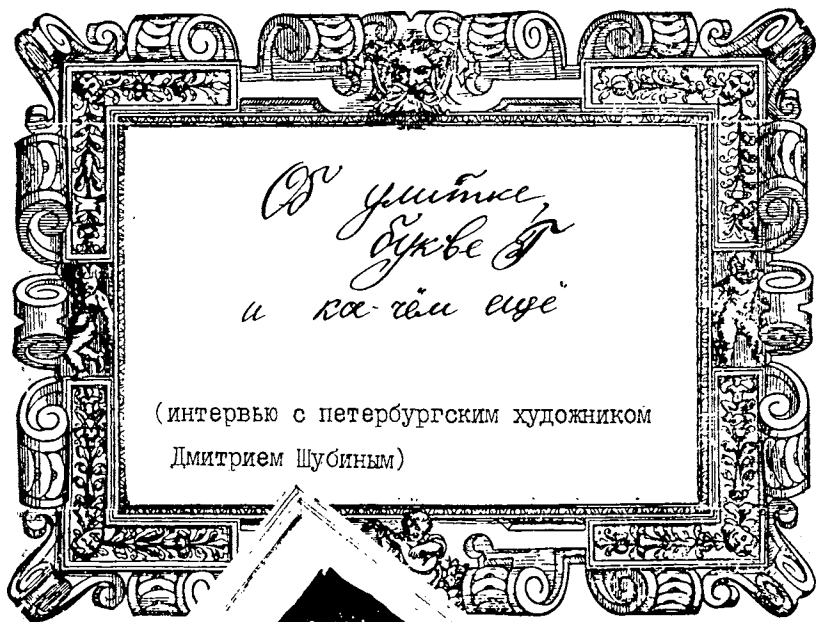


ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ НОМЕР.

СУМЕРКИ



ГЛАСНЫЕ
И СОГЛАСНЫЕ



140



Александр Скидан.

- За последние несколько лет Запад получил весьма полное представление о состоянии современной советской живописи - "мода" на перестройку обернулась модой на "искусство из СССР". Но мода, как известно, проходит...



Дмитрий Щубин.

- Уже в 1989 году было очевидно - вот, скоро конец. И всё же случилось это буквально в считанные месяцы этого года. Суть перемены в том, что западным галеристам перестал быть интересен русский художник как таковой - их интересует художник вообще, независимо от национальности, и желательно - с уже известным на Западе именем.

Всё изменилось, и мы сейчас стоим на пороге совершенно новой ситуации, и как она будет развиваться - предсказать сложно. Нам предстоит на равных войти в международную художественную ситуацию, или же - выживать за счёт "национального колорита". Третьего пути нет: или стать составляющей мирового художественного процесса, или выродиться в "туземное" искусство.

Но - как "войти на равных"? Большинство художников знает современное мировое искусство лишь по репродукциям. Частые ныне

привозные "оттуда" выставки – словно фонарь, выхватывающий из темноты то одно, то другое и не дающий цельной картины. Отсутствие собственного художественного рынка, неподготовленность не только зрителей, но и критики, наконец элементарное отсутствие материалов для работы – вот то, от чего приходится отталкиваться. И вдобавок – семидесятилетний перерыв в нормальном развитии искусства.

А.С. – Но есть традиция русского авангарда...

Д.Ш. – Да. Но в живописи она сейчас играет ту же роль, что в декоративно-прикладном искусстве – матрёшка. Некий знак "русскости", а в реальности – просто хороший коммерческий момент. Отсутствие развития есть смерть, и могла ли не умереть эта традиция, не развиваясь столько времени? Да, были люди, пытавшиеся её сохранить: в Петербурге работала группа Стерлигова, в Москве – студия Белютина и т.д. Но условия сложились так, что они занимались не столько развитием традиции, сколько её консервацией: появился своеобразный "академизм в авангарде". И если в Москве в последнее время стало модным цитировать в работах какие-то элементы Малевича, то вовсе не от его глубокого понимания и усвоения – просто цитирование стало рыночным моментом...

Русский авангард не существует и никогда не существовал сам по себе, но лишь в контексте мирового художественного развития. Так и следует его воспринимать – как часть чего-то куда более обширного, как одну из тех составляющих, на основе которых и возникла нынешняя ситуация, характеризуемая термином "постмодернизм".

Поэтому, кстати, к сегодняшней живописи и неприложимо понятие "авангард" – оно осталось в прошлом. "Постмодернизм" – звучит не слишком определённо, и всё же имеет под собой какую-то реальность: "то, что после".

Свен Гундлах (московский художник) описывал происходящее следующим образом. Существует континент, населённый некоей нацией. Многие поколения этот континент исследовали, изучали, осваивали – и вот дошли до последнего берега. Всё открыто, неизведанного нет. И для новых поколений не остаётся общественно значимой работы – они могут лишь "открывать" вновь и вновь то, что уже открыто, бродить по этому континенту, выбирать своё место под

солнцем... Это и есть ситуация постмодернизма.

Такое описание представляется мне наиболее адекватным...

А.С. — Своего рода "теория малых дел"? Хорошо. И тем не менее, несмотря на катастрофический опыт XX века, не оставляющий иллюзий по поводу теургичности искусства — что всё-таки произошло с самим пониманием роли художника, с его самопониманием, самосознанием, громко говоря?

Д.Ш. — А вот прежде чем говорить о художнике, следует разобраться с тем, что, собственно, следует считать искусством и является ли им современная живопись, соответствует ли она тому классическому пониманию, которое умерло при рождении XX века.

Ведь искусство современное и всё искусство прошлого разнятся прежде всего целью своего существования. Когда первобытный художник рисовал на стене пещеры мамонта (кстати великолепно рисовал — к вопросу о прогрессе в искусстве), у него была цель: пособить собратьям забить упомянутого мамонта. Рисование было неотъемлемой частью ритуала и собственно ради ритуала и существовало. Когда средневековый художник писал сцену распятия, это делалось опять же для ритуала, для церковного обряда, и представляло собой, с точки зрения художника, реальность, которую надо всего лишь воссоздать к вящей славе Господней. Словом, и здесь цель была предельно ясна. Кроме того, издавна существовало убеждение, что то Божественное, что изображается в живописи, даёт частичку своей божественности и самой живописи. То есть: живопись воспринималась как нечто сакральное, как "то, что от Бога". Был канон — да, на Западе в меньшей, на Востоке в гораздо большей степени; казалось бы, канон, штамп не совместим с творчеством? Напротив, он расковывал силы художника. Существовало (как, например в древнерусской иконе) всего четыре варианта ликов, да и писаться они могли лишь в трёх поворотах — фас, три четверти и профиль. Было твёрдо установлено, в какой позе должна сидеть Мадонна в сцене Благовещения и кто должен быть по правую руку от Христа в Тайной вечере. И в итоге художник мог не заботиться об общем — мог сосредоточиться и совершенствоваться в написании складок на одежде, постигать принципы перспективы и т.д. Таким образом, благодаря существованию канона ускоренно развивалась техническая сторона живописи.

Первые изменения происходят, когда начинается отрицание Бо-

жественного. Если Божественного нет, то нет ничего Божественного и в искусстве — это естественно. Значит, остаётся только техника. Постепенно появляются элементы пейзажа, разбирается анатомия, осваивается перспектива, потом происходит освоение композиционных закономерностей — более высокий этап. И ещё сохраняющееся отношение к живописи как к сакральному исчезает лишь тогда, когда искусство становится объектом рыночных отношений. Стало быть, подчиняется законам рынка, и критерием в таком случае является повизна товара.

А.С. — Интересно отметить, что во временном отношении эта ситуация, когда живопись становится окончательно только предметом купли-продажи, совпадает с появлением фотографии. То есть... здесь сразу несколько следствий появляется, определивших будущее живописи. То, что Ортега назвал дегуманизацией искусства — отвращение к "человеческому, слишком человеческому" в искусстве — мне это представляется тесно связанным с появлением фотографии и с тем, что именно в это время произведение искусства становится товаром...

Д.Ш. — ...который диктует свои принципы художнику...

А.С. — ...хотя он может этого не осознавать. Здесь налицо та же ситуация отчуждения...

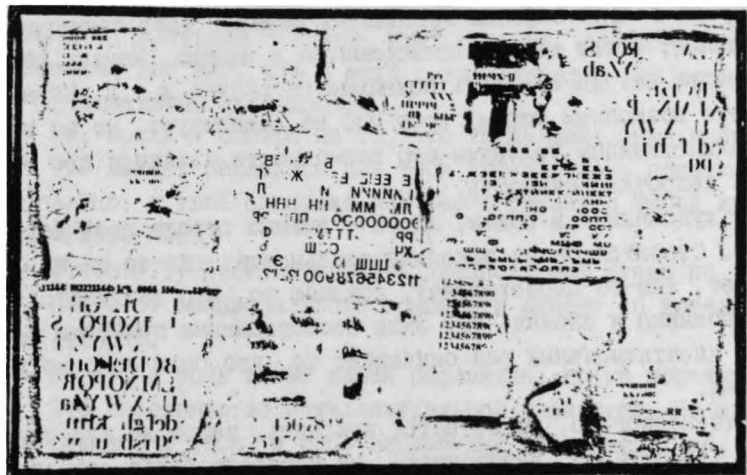
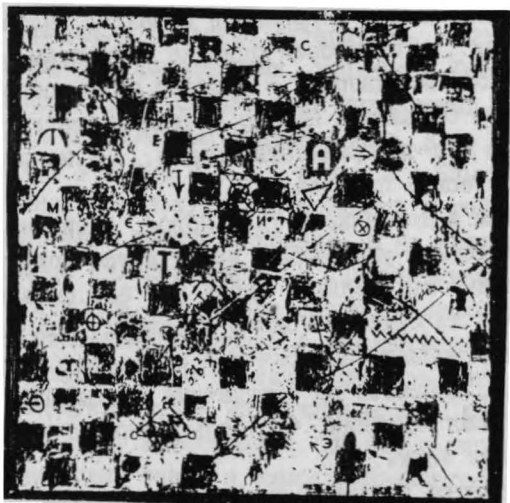
Д.Ш. — Почти по Марксу...

А.С. — Однако остаётся неясным, что же конкретно произошло на этой границе...

Д.Ш. — Дальше — дальше исчезает, или, во всяком случае, становится крайне зыбким, почти эфемерным понятие объективной ценности искусства. Когда эстетические критерии менялись медленно, веками, то могли быть ситуации, когда художника неожиданно вспоминали и начинали ценить через 100 — 200 лет после его смерти. Сейчас это невозможно. Главенствует рынок, а он требует всё нового и нового, товар должен меняться, должно постоянно происходить обновление ассортимента, и этот ритм всё ускоряется и ускоряется.

А.С. — Это что касается внешней стороны, истории предмета...

Д.Ш. — А если говорить о сути, то (принимая с оговорками концепцию мимезиса) искусство имеет лишь два предмета для отражения: оно может отражать мир внешний и мир внутренний. Никаких



Дмитрий Шубин. Из серии "Археология". Х., м., 70 x 110 см.

других миров мы не знаем. И — мы освоили оба известных мира, всю мыслимую территорию искусства, мы дошли до пустого холста, до признания объектом искусства любого в принципе объекта, выставленного в помещении галереи... Территория освоена полностью, не говоря уж о собственно масляной живописи — столько было всего за время её существования, что буквально ничего нельзя сделать такого, что не напоминало бы что-то предшествовавшее... и не вызвало бы те или иные исторические параллели.

Впрочем, в начале века в дневнике Н.Удальцовой, впервые приехавшей в Париж и потрясённой увиденным, встречается примерно такое высказывание: бедные мы, бедные, здесь уже всё сказано, надо ехать обратно... А тот же Ортега в одном из своих эссе говорил о невозможности существования абстрактной живописи (чуть ли не в год её появления!), ссылаясь на "неудачные опыты" Пикассо. У них — тогда — тоже было ощущение, что больше ничего нового быть не может. Так что — как знать...

Но пока художнику остаётся выбирать свой уголок в этом уже обжитом, освоенном мире и "возделывать свой маленький огород" в надежде снискать хлеб насущный.

Р.Карнап в "Философских основаниях физики" даёт примерно такое описание: летит птица, превращается в камень, камень падает на землю, оттуда в воздух поднимается радуга и т.д. Карнап называет это возможным миром: этот мир не существует, но он возможен, и единственным условием его возможности является его внутренняя непротиворечивость.

И вот художник — в общем, любой — именно строит свой возможный мир. Строится он из осколков реальности: где-то он их подкрашивает, где-то переставляет, создаёт то, что называется "лицом" художника и своими, ему лишь свойственными приёмами в тысячный и десятитысячный раз описывает то, что было описано до него другими.

Раз это неизбежно, то остаётся выяснить, каков же кусочек реальности (внешней ли, внутренней), из которого будет создаваться твоё нечто... Возможный мир чего? — вот основной вопрос. Для меня это — возможный мир культуры. Моя реальность строится на основе реальности культуры, которая сама по себе уже является отражением, является вторичной.

Мне кажется, что "Улисс" Джойса – это та вещь, которая как бы завершила развитие литературы, синтезировав всё накопленное предыдущими поколениями, начиная с Гомера и кончая XX веком. В идеале – нужен своего рода живописный "Улисс", не другая живопись в собственном смысле слова, а – д р у г о й и н т е л – л е к т у а л ь н ы й я з ы к . Язык, пригодный для описания континента культуры (возвращаясь к той метафоре). Причём, это должно быть именно описание, а не иллюстрация: разница – между подходом иллюстративным и дескриптивным, точнее говоря, феноменологическим. На Западе одним из самых страшных обвинений художнику является обвинение в иллюстративности: сказать, что художник иллюстративен – значит сказать, что его нет. И тем не менее иллюстративность – на каждом шагу. Скажем, вот работа, в которой, кажется, нет иллюстрации, да нет и первичной реальности, сплошной знаковый язык; а смысл оказывается иллюстративен – дескать, сложность, алогичность, закодированность современного мира... Феноменологический подход отличается отсутствием субъективного отношения к объекту. Вот – чашка. Вверху она имеет диаметр 7 сантиметров, материал – фарфянс, цвет – синий, объём – столько-то миллилитров. Вот всё, что я могу о ней сказать. Всё остальное будет субъективным прибавлением.

А.С. – Но, когда я смотрю на то, что ты делаешь, мне кажется,

что момент рефлексии для тебя существенен, попытка осмысления налицо, и твоё описание всё равно остаётся твоей интерпретацией. Разве нет?

Д.Ш. – Отчасти... Дескриптивность предполагает отказ по возможности от эмоционального момента и акцент на интеллектуальную сторону.

А.С. – Но это и есть та же самая рефлексия, но на порядок выше:

Это пространство интеллектуальной рефлексии. Но здесь я должен сделать и тебе, и себе нескромный комплимент: то, чем я занимаюсь в литературе – это то же самое. На сегодня ресурсы лингвистические, не говоря уже о философских, религиозных, исчерпаны и дискредитированы. Всё-таки порядочнее не пытаться изобретать колесо, уже изобретённое, но попытаться осмыслить, а где-то и честно процитировать изобретённое, найденное, сотворённое.

Д.Ш. — Здесь встаёт вопрос об этической стороне дела. Мы занимаемся своим делом и при этом претендуем, естественно, на то, что делаем нечто полезное. Хорошо, но ведь современное искусство практически создаётся для профессионалов, поскольку у остальных просто нет подготовки для того, чтобы судить о нём компетентно! И насколько морально мы вправе, занимаясь тем, что только нам интересно и понятно, претендовать на то, чтобы ещё и получать за это деньги? Мне кажется, что все мы живём не совсем по совести: занимаемся чем-то глубоко личным и требуем за это денег...

А.С. — А как ты пришёл к использованию знаковых систем, алфавитов? Ведь это случилось не вдруг, я помню твои ранние работы...

Д.Ш. — Ну, это далеко не моё открытие. Правда, в начале века графический знак использовался в основном в композиционных целях. Требовалось заполнение какого-то определённого места в формате, и его заполняли графическим знаком — буквой, обрывком слова, цифрами... Позднее стало осмысляться понятие, важнейшее в современной живописи — понятие подтекста. Мало перейти от знака как композиционного элемента к знаку как семантически значимому элементу; необходимо учитывать и побочные, подсознательные ассоциации, им вызываемые — ну, ореол значений, что ли... Ещё Бретон утверждал, что сила образа зависит от множественности ассоциаций, которые он вызывает. А ведь знак и образ отнюдь не так уж противоположны, как кажется. Скажем, латинская буква Г сохранила в своём начертании два рога улитки, которую изображал иероглифический прототип этой буквы. Вопрос лишь в том, чтобы ввести подобные скрытые смыслы в качестве естественного элемента интеллектуального языка. Таким образом, возникает задача реставрации культуры, её археологии. Для меня, археология — это не только название одной из моих серий работ; это сущность.

В большинстве случаев я не могу объяснить, почему в данной работе на данном месте должна быть эта буква или этот знак. Могу, конечно, объяснить логически, но это будет весьма грубое и приблизительное объяснение...

А.С. — Всё же, как исполняющий обязанности интервьюера, я вынужден тебя подначить...

Д.Ш. - Хорошо. Науку о знаках, как известно, принято делить на семантику (то есть - отношение знаков к объектам), синтактику (отношения знаков к знакам) и прагматику (отношение знаков к интерпретатору). История искусства в принципе целиком укладывается в эту схему.

Первая ступень есть искусство фигуративное: существует объект и существует его изображение (сбозначение).

Вторая ступень - абстракция. Знак можно соотнести лишь с другим знаком (жест - с жестом, цвет - с цветом); замкнутая система, не допускающая проецирования на какую-либо другую реальность, кроме собственной. В сущности, здесь происходит в известном смысле деградация знака, выступающего в несвойственной ему функции. Таков опыт кубизма, классического русского авангарда 10 - 20-х годов: знак использовался во взаимосвязи с другими знаками, становясь по сути объектом; означающее теряло своё означаемое.

Третья ступень - прагматика - по специфическим причинам нашего исторического и политического развития мало представлена у нас, но достаточно полно разработана в европейско-американской послевоенной традиции. Развитие художественной ситуации на Западе, теснейшим образом связанной с рынком и торговлей произведениями искусства, привело к тому, что важнее самого произведения становится то, что с ним происходит. Иными словами, явлением искусства становится и акт действия над неким объектом, а не сам объект (картина, скульптура и т.п.). Отсюда - выход на передний план перформанса, рэди-мэйд и прочие ответвления дерева искусства.

Но живопись, несмотря ни на что, всё же остаётся главной составной частью искусства. И живопись требует своего. В этом - ещё одна причина появления постмодернизма, о котором мы говорили.

И вот, если ныне освоена возможная территория искусства, то не значит ли это, что надо подойти к ней с другой, может быть неожиданной стороны? Синтезировать то, что накоплено; раскопать и ввести в обиход то, что забыто? Иными словами - произвести с руинами, по которым мы в смущении бродим, реставрационные и археологические работы? И не будет ли этот новый подход являться и новым качеством?

Должен быть сделан, таким образом, новый виток в развитии: возвращение к соотношению знака и объекта, к семантике, но на качественно ином уровне.

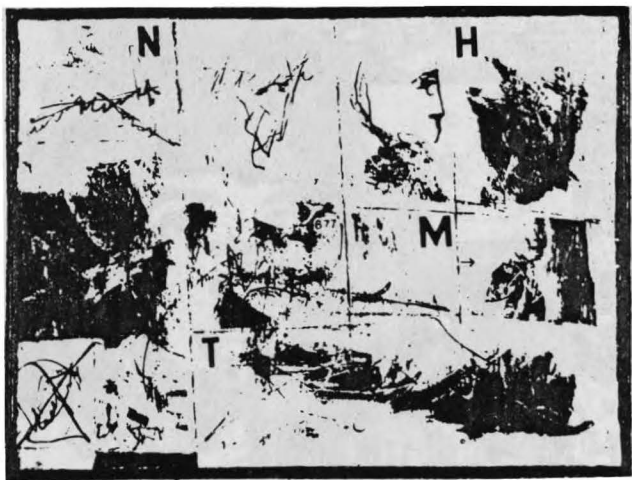
А.С. — Но что, по-твоему, необходимо для того, чтобы это стало возможно?

Д.Ш. — Первое — осознание опыта всей нашей нонконформистской живописи 60 — 80-х годов и опыта соцарта как явления по преимуществу социально-политического со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опыт этот скорейшим образом должен быть дополнен опытом развития западного искусства. Важно при этом уточнить, что западные художественные поиски следует не повторять, но — усвоить.

И второе — русская живопись должна преодолеть опыт русского классического авангарда, от свойственного ему понимания знака как объекта перейдя к пониманию и использованию в художественной практике того несомненного факта, что знак есть знак, и означающее всегда должно подразумевать наличие означаемого. Подтекст не объясним текстом! Несколько знаков (образов, жестов) образуют смысл, как несколько нот образуют мелодию. Задача — сделать так, чтобы аккорд звучал.

Находясь в потоке существования, не будем забывать о сущности... Кажется, так.

А.С. — (...)

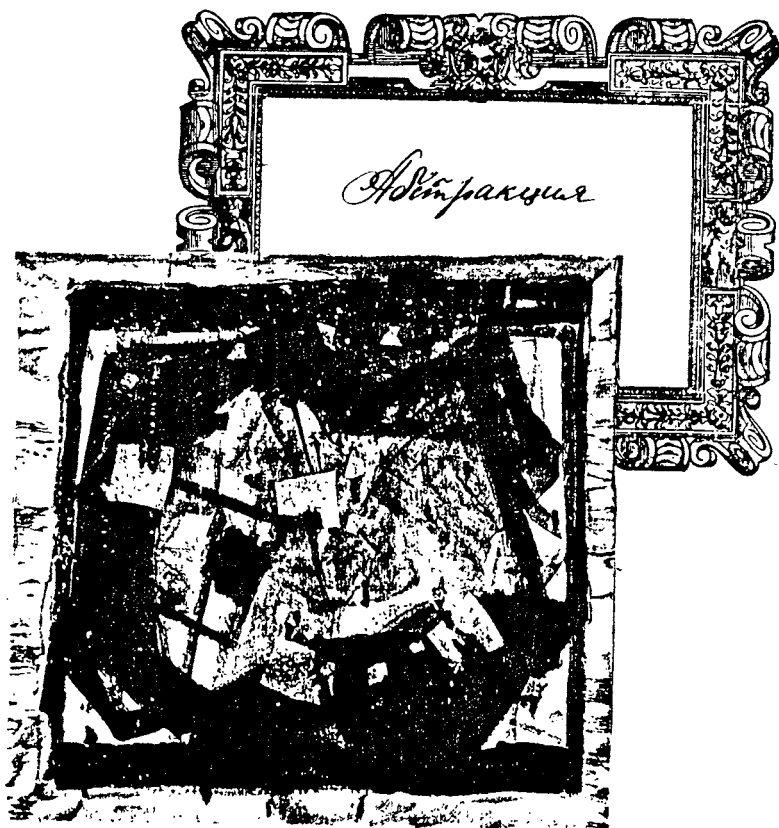


Дмитрий Шубин. Малые фрагменты. Х., м., 80 x 110 см.

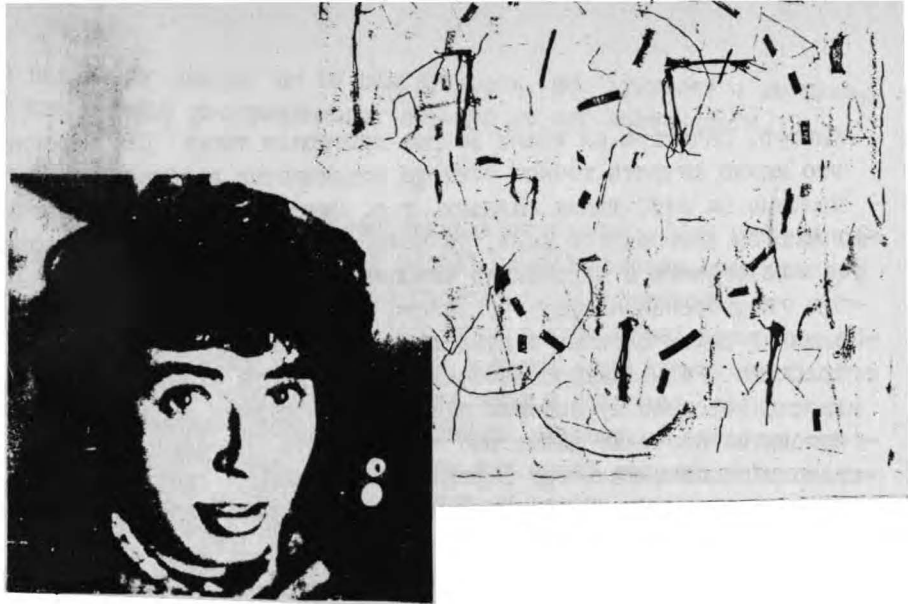


Дмитрий Шубин. Из серии "Музыкальные фрагменты".
Х., м., 50 x 70 см.

Михаил Сорин



152



Одна из сторон деятельности художника-абстракциониста состоит в том, что он тривиально, реалистически и последовательно копирует естественный мир, но не таким, как мы его видим, а при условии логической бессмысленности изображённых фрагментов. Предположим, я изобразил в технике живописи фрагмент стены в две краски, в сочетании с фрагментами ниши в этой стене, в сочетании с фрагментом двери в этой нише, и ещё телефонный звонок и проводку (коммуникацию) к нему, перевернув и сложно спроецировав их. Изображение будет декоративным для зрителя, которого я не поставил в известность о целом. Идеальный ценитель такого полотна, чтобы разгадать находящийся перед ним ребус, должен обладать абсолютной памятью, как компьютер. Из людей его мог бы оценить только мифологический Иренео Фунес.

Изображение игры света и тени на поверхности предметов, включающее изображение формы этих предметов, — один из существенных путей создания абстрактной живописи. Вследствие этого множество работ могли бы иметь лишь два названия: дифракция и интерференция.

В подлинном смысле абстракционистами были и представители любых школ фигуративной живописи, когда создавали изображение

фактур. Зачастую на ткани холста повторяли ткань. Для живописи это можно считать точкой отсчёта подлинности изображения, а появление на этой ткани складок, т.е. ложной топологии, — первым вымыслом живописного дела, за которым кроется аллюзия живописных перспектив и перспектив живописи.

Повторение на фактуре холста фактуры холста. Возможно, это один из самых сложных и старательно обходимых моментов писания красками. Речь фактура изображаемого и места изображения одна — холст, перспективу выберем одну и самую трудную — плоскость. Отбросим изображение рамы: оно — условность. Идеальным вариантом такого полотна является картина, изображающая себя на всём своём протяжении, идентичная себе, идентифицирующая себя. Если мы совершим тысячу таких наложений и попытаемся дать понять, что они сделаны, — это и будет подлинная абстракция, действующая, скажем, по принципу испорченного телефона от реального через сюрреальное, к декоративному.

II

Ещё о причинах возникновения абстракций. Допустим, я хотел бы рассказать историю в рамках любого жанра изобразительного искусства. И вот, я хочу произнести первую фразу этого рассказа, но она, эта фраза, обладает невероятной важностью, содержит в себе намёк на будущую историю и многое другое, невысказанное, и впоследствии эта фраза — словно аналог магической, каббалистической речи, влияющей на предметы; собственно, это — формула, зывающая их к жизни. Это — заклинание. (Я могу предположить, что это перечисление действующих лиц или описание одного из них, такое долгое, что слова в нём сливаются между собой.) В нём содержится вся моя внутренняя нерешительность и внешняя невозможность предполагаемую историю рассказать. Если я, стремясь к осмысленности, уничтожаю единицу смысла, то место поиска и потери могу назвать абстракцией. Поэтому любая рассказанная мною история абстрактна. Вся жизнь, все куски холста уйдут только на повторение первой фразы, и тем меньше у меня шансов полностью изобразить хоть что-нибудь. Подходы занимают в моём искусстве место самих предметов. За всю жизнь не перейду границы поверхности. Хочу изобразить в портрете — метаболизм, в пейзаже — циркуляцию жидкости

в различных средах, но не как сущность, ибо сущности я не знаю, а как причину изображаемого, лежащую на его поверхности.

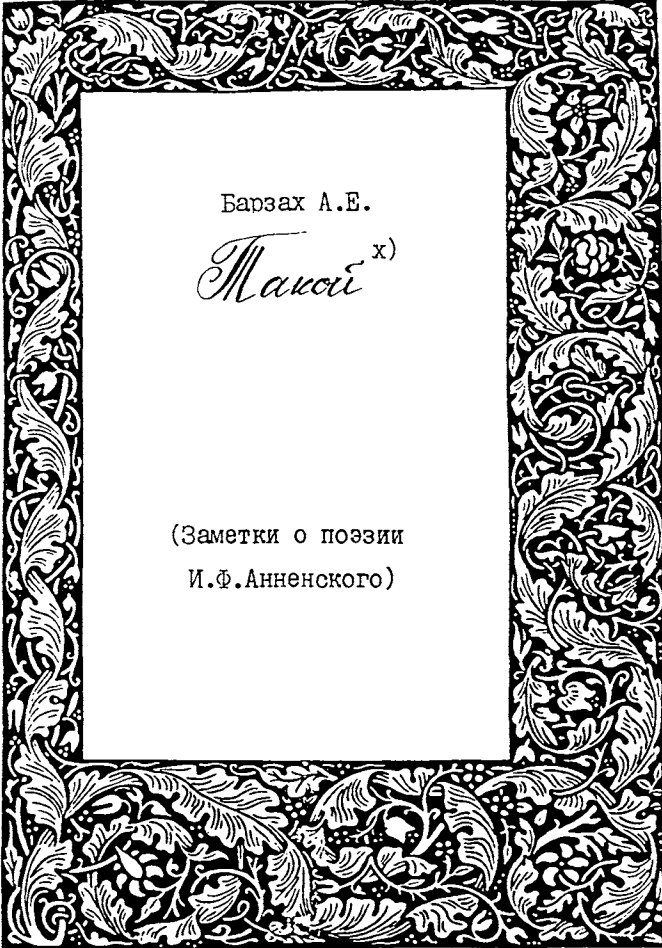
Ш

Ткань окружающего подозрительна на замысел. Мне хочется назвать естественность "вышей мерой" декоративности, так как это утверждение содержит приговор последней. Абстрактное — это тонкий примитив, заключающий в себе игру с категорией времени и обман. Любо́й примитив — это выигрыш времени (его аккумуляция). Это частность частных, то состояние мира и сознания, когда у них одна точка соприкосновения. Абстракция напоминает алгебру, основанную на семи числах, где контуры или место соприкосновения живописных масс — математический знак, и задача восприятия — поименовать этот знак. Иногда контуры могут быть обозначением функций, иногда функцией может быть рама.

Чёрное и белое: прообразы неизвестных.



156



Я опять - в положении оправдывающегося. Я собираюсь предупредить - кого?.. - предупредить о том, что, мол, я не претендую на целостную концепцию творчества Анненского, что это более или менее разрозненные заметки, что ценнее всего, по-видимому, некое количество конкретных наблюдений, а выводы и торжественные обобщения... - ну, и так далее. Я сажусь писать без чёткого плана, без адресата - с несколькими наблюдениями, дальше которых я, в сущности не продвинулся за эти семь лет - и цифра эта меня уже не пугает, как пугала та же цифра семь лет назад, - на что же я рассчитываю?

Ни на что я не рассчитываю. Но почему ещё сравнительно недавно мне было достаточно - скажем, почти достаточно, - думать, задумывать - на черновик - а теперь вот, тороплюсь, неизвестно зачем, и даже сразу с заглавием. А ещё раньше - достаточно - ну, почти достаточно - жить, вернее, думать, выдумывать - себя - и тоже на черновик - в ожидании чего-то оправдывающего, того окончательного, чему - к чему - черновик этот, что проступает, остаётся - к чему это чёрное, в черноту уходящее тянется - потому что сзади всё - почти всё - вычеркнуто.

Не потому что - чтобы осталось. Не из тоски по чистовому варианту. И тем более не вследствие зрелости мысли или чего-нибудь вроде "есть что сказать". Тут просто смена форм существования. Утрата внутренней опоры. Ясно, что дело не в том, чтобы сообщить кому-то, а в том, чтобы сообщить себе - поскольку сам уже - совсем иной - и только как бы перечитывая: имитация - самого себя?

Тот, раньше, черновик, в черноте своей, перечёркнутости, непрочтённости и непрочитаемости, в той тяге к небывалому - и не будущему никогда быть чистовику - теперь только, когда всё яснее, что ни к чему эта тяга, в ничто, что нет его, чистовика, что в никуда тянулся - теперь только, уже и из памяти исчерпан-

х) Печатается с сокращениями.

ный почти — проясняется как единственное и навсегда утраченное. И нынешние "чистовики" — это вовсе не продолжение, не реализация тех — того — Черновика — а просто отражение их — Его — тяги в ничто, в никуда, не реализация, нет, даже не вариант — а какое-то "никак не вспомнить" о Нём: тень той черноты, расплывание: сумерки.

Вступление закончено.

2

Чем интересен Анненский — ещё и с методологической точки зрения? Не в последнюю очередь его поэзия привлекает интерес как бы отрицательным своим качеством, а именно: бедностью семантического контрапункта. Прижизненные и первые посмертные рецензии потому и малосодержательны, что пытаются мерить Анненского именно этой меркой, то есть искать какие-то сквозные темы, семантическое единство. И что, ещё более удивительно, ведь признанные корифеи семантического контрапункта, Ахматова и Мандельштам, считали его своим учителем. Современное литературоведение при изучении этих поэтов практически не выходит за рамки мотивного, семантического анализа (понимаемого, конечно, достаточно широко). Если это и впрямь главное в их поэзии, то им с большим на то основанием следовало бы считать своим учителем Вяч.Иванова (до сих пор, с моей точки зрения, не достаточно оценённого в качестве предтечи грядущих вершин поэзии XX века). Я не хочу здесь углубляться в исторические вопросы, рассматривать проблемы традиций и влияний — я хочу лишь указать этим примером на явную недостаточность — хотя и необходимость — традиционного семантического анализа (фактически: дешифровки). И если в случае Мандельштама этот анализ достаточно сложен, если в его поэзии контрапункт — невероятно богат, даже изощрён, чтобы по праву завладеть нашим вниманием, то эта трудно улавливаемая, но всё же отчётливо сознаваемая связь с как бы "внесемантическим" Анненским позволяет почувствовать ещё острее, что от нас, видимо, ускользает что-то очень важное, какая-то суть. Та связь, которая интуитивно ощущается, как более прочная, нежели связь с Вяч.Ивановым.

Анненский интересен и сложен тем, что не даёт прямых "семантических" зацепок. В то же время очевидно, что его вряд ли

можно отнести к "эмоционально-нутряным" поэтам; интеллектуальность его, даже в психологизме, даже в эмоциональности бросается в глаза. То есть, по всей вероятности, здесь перед нами какое-то иное качество семантики же, не отягощённое контрапунктическими головоломками.

Потому и заметки мои будут касаться главным образом не "содержания", а "приёмов" и их смысловой наполненности. Посмотрим, что из этого выйдет.

3

Ещё одно вводное замечание. Дело в том, что предшествующее введение написано, если память мне не изменяет, года 4, а то и 5 назад. Помимо объективных причин этого торможения, зависания в пустоте, была — да, собственно говоря, и есть — причина субъективная: я никак не мог зафиксировать жанр. Две традиционные альтернативы: дедуктивная, когда общие положения иллюстрируются ("доказываются") примерами, и индуктивная, когда анализ конкретного материала "наталкивает" на общие выводы, меня не удовлетворили, а, вернее, мне было с ними не справиться. Во-первых, я не хотел, чтобы это превращалось, — чтобы это претендовало на некий целостный анализ творчества Анненского: я к этому не готов, тут требуется качественно иной уровень, да и возможно ли это, по правде говоря? С другой стороны, рассыпающиеся наблюдения мне тоже казались занятием нестоящим, хотя, видимо, к тому я и прихожу. Я начну с того куска, который вчерне был готов уже тогда, 4 — 5 лет назад. Я начну со второго стихотворения сборника "Кипарисовый ларец", со стихотворения "Тоска мимолётности" — попытаюсь в нём уловить какие-то главные ноты, попробуем потянуть за эту ниточку, разматывая клубок.

Почему именно это стихотворение? В нём в первом, в самом начале сборника мы наталкиваемся на удивительное словечко "так", излюбленное, ни с чем не перепутываемое пристрастие Анненского. Много лет назад с этих "так", "такой" началось моё слышание Анненского. Они выламывались из привычной "гармонии", они надрывали ткань стиха, это был диссонанс, притом какой-то особый, совсем не похожий на диссонансы Пастернака, Маяковского или Тютчева; здесь было что-то тревожащее, не укладывавшееся в привычные

рамки, противящееся даже называнию и обозначению. Не недосказанность, нет — что может быть эффективней — что может быть "красивей" недосказанности, скажем, у Ахматовой — а какой-то жест, какая-то оборванность, надорванность, иссякание: махнуть рукой, вдруг, на взлёте, вдохе — не дотянуть, не закруглить, не организовать уже вполне вырисовывающуюся кульминацию — какое-то композиционное высокомерие...

И это, уже третье по счёту вступление я не смог закончить. Придётся в четвёртый раз начинать всё с начала, по кругу, повторяясь, торопясь и всё же не сдвигаясь с места — но я не хочу распрямлять эту кривую, я хочу сохранить все эти приступы и иссякания, эту невозможность начать — потому что это как-то сродни Анненскому, об этом я, собственно, и собираюсь говорить, не о себе, нет, не о тексте этом, а об Анненском — хотя, конечно, и о себе тоже. Получается какое-то смешение жанров: что это, эссе, лирическая медитация или же попытка серьёзного анализа? Я не хочу считать то, что я пишу, просто лирикой, такой вот формой самовыражения, "прозой", — хотя постоянное впадение в восторженный импрессионизм и заслоняет, если не обесценивает многие наблюдения. И всё же, несмотря на все утраты и нереализованности, несмотря на моё постоянное самоуничтожение, остались, видимо, достаточно серьёзные методологические амбиции, если и не оправдывающие, то хотя бы обосновывающие эту эклектику. В чём их суть? — Попытаться удержать и понять, проанализировать первичный, изначальный субъект поэзии, то, за что мы, собственно, её любим, чем она нам — а, может статься и не только нам — необходима; то, что можно, психологизируя, огрубляя, назвать переживанием стиха. Анализ этот труден, он почти неизбежно сбивается либо на структуралистские или "мифологизаторские" построения (квазинаука), либо на лирические воздыхания и междометия (квазиискусство). Аппарат — скуден, терминология — убога. И тем не менее возникновение "лирики" в моих текстах связано не только с научной несостоятельностью, не только с комплексом неполноценности перед искусством и стремлением создать нечто неповторяемое — то есть, не научное по сути своей. Пытаясь ввести переживание в ткань анализа, стараясь удержать анализ на уровне, при котором некое ядро переживания сохраняется — пытаюсь удержать это, пускай уже очищенное, редуцированное, но ещё живое переживание — мы откры-

ваем ему самому путь вглубь текста, и оно взрывает его этим, быть может, не всегда уместным бормотанием. И может быть, и нескончаемое вступление это, и образная патетика, прорывающаяся в текст — это, смею надеяться, не только факт моей личной биографии, не только образ меня самого, не просто автохарактеристика и неудовлетворённое тщеславие неудавшегося творца, но неизбежность, неизбежная самосогласованность "метода": мы очищаем переживание, снимаем с него шелуху и труху, лелеем его — и, когда, казалось бы, уже близки к цели, оно выскользывает из рук и растворяется в самом тексте; текст замыкается сам на себя, озирается, оглядывается, ищет беглеца, топчется на месте, возвращается назад; он уже не только о другом — но и сам о себе, и тут всё обрывается, потому что он не должен сам быть — "поэзией" — не может ею стать — впад в неё, он гибнет, и надо начинать всё сначала, начинать сначала это безнадёжное карабканье по песчаному откосу: руки уходят в песок, всё осыпается, оползает — ты опять вниз, на дне — текст замыкается на себя, и вот он уже о себе самом, он возвращается, падает, опадает, лишаясь исходного импульса энергии невысказываемости, текст замыкается на себя — и надо опять начинать всё сначала — по кругу, повторяясь, торопясь и всё же вновь не сдвигаясь с места — начинать четвёртое вступление.

Начнём — как ни в чём не бывало.

4

Ещё при первом настоящем знакомстве с Анненским мне бросилось в глаза обилие в его стихах указательно-эмфатических конструкций с наречиями "так", "как", "столько" и всевозможными их производными: "такой", "какой" и т.п. Они беспокоили, сопротивлялись быть вот так просто воспринятыми, принятыми. "Какой тяжёлый, тёмный бред!.." "О, как этот воздух странно нов..." "Я не думал, что месяц так мал..." "И уходишь так жадно..." "Вы так глубоко сердцу чужды..." "И чтобы прядь волос так близко от меня, так близко от меня...", и так далее, и так далее. Была в них какая-то корявость, что ли, не было той "гладкописи", к которой я привык — у Блока, у Ахматовой, у Пушкина. ("какофония", диссонансы у Блока и у Пушкина воспринимаются всё-таки как некое

исключение; знаменитый "мотор" Блока, его "Двенадцать" потому ещё так ошеломляющи, что воспринимаются – и воспринимались в своё время – на вполне "благополучном" общем фоне; у Пушкина диссонансы куда тоньше, их ещё надо заметить, пробившись к тому же сквозь толщу заученности хрестоматийных строк).

Что же так беспокоило у Анненского? Какая-то оборванность, прерванность, недоговорённость – отчасти как раз за счёт того, что ожидаешь полного оборота ("так...", что...", "так...", как..."), с необходимым разъяснением; а вместо него – провал. Как – так? Какой – такой? А вот – "такой" – и всё тут. При том, что сохранена риторичность, своеобразная "неестественность" приёма. Жест, актёрский, ораторский жест – вдруг оборван, рука замирает на полдороге, мягко опускается и повисает плетью – но воздух дрожит от этого незаконченного движения, в воздухе разлито напряжение и смятение – как бы мерцает образ самого поэта, с его изломанностью, замиранием на взлёте, с его томлением, чопорным надрывом и крушением в момент кульминации – и даже не крушением, а каким-то обрывом, и смятением – судьба вдруг замирает на полдороге, мягко опускается – на ступеньки Царскосельского вокзала – он сам – "такой"...

Полтора года назад я с удивлением обнаружил точно такую же двигательную интонацию в античной скульптуре, я вдруг почувствовал эту странную "томность" в жесте, развороте, движении давно знакомых фигур – то же мягкое замирание, зависание; его окликнули – и он так и не успел закончить движение – и уже никогда не сможет – рука ещё помнит и хочет продлить, в ней ещё "остаётся ощущение тяжести" – но его окликнули, и он забыл, и теперь уже не вспомнить, никак не вспомнить. Вот это "ещё-уже", неуловимая грань, тихий оклик судьбы, тяга и обречённость – то, что вдруг открывается в античных скульптурах – даже в отдыхающем Геракле, даже у Лаокоона – это и есть античность Анненского, по крайней мере так я её почувствовал, впервые внутренне бесспорно сопрягая поэта и филолога-классика: может быть это он и видел, это и чувствовал у своих любимых греков.

Возможно, что я и не прав, предваряя, а не резюмируя имеющий быть анализ столь распространённым импрессионистическим пассажем. Мне просто хочется сразу ввести вас в тонус моего понимания, в стиль моего чувствования Анненского, не убедить, не дока-

зять, не показать – а настроить; камертон, тональность, проба пера.

Я долго ломал голову, как организовать эти мои заметки. И как-то само собой получилось то, что для меня, видимо, проще и органичнее всего. Думая перебрать образцы "такого" словоупотребления у Анненского, я начал с первого, и оно сразу потащило за собой столько ниточек, клубок стал разматываться, а анализ запутываться, самопересекаться, я в полном отчаянии бросал и вновь начинал сначала, но, будучи не в силах привести всё в логически сообразную систему, я опять дёрну за эту ниточку, рискуя похоронить даже то, что изначально имелось, этим обвалом цепляющихся друг за друга приблизительностей.

Итак, начнём, наконец.

Глава 3. Как же – "так"?

Итак, как можно догадаться по названию этой главы, мы подошли, наконец, к тому, с чего начали – с чего начали эту работу, с чего началось когда-то моё понимание, моё слышание Анненского. Итак, речь пойдёт уже не о пяти строчках и даже не об одной строке, а об одном слове: мы выпутались с грехом пополам из клубка нанизывающихся друг на друга наблюдений, выбрались из оказавшегося почти необъятным "микрокосма" и попробуем теперь ещё более сузить задачу – сузить до одного единственного слова.

Выпишем для начала несколько наиболее характерных примеров интересующего нас словоупотребления, чтобы войти в мир этого слова – в мир этого переживания.

"С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто." ("Свечку внесли")
"Какой тяжёлый тёмный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!" ("Смычок и струны")

"О, как этот воздух странно нов..." ("Ты опять со мной")

"О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла

И роскошь цветников, где проступает тленье..." ("Август")

"Я не думал, что месяц так мал

И что тучи так дымно-далёки... <...>

Я не думал, что месяц красив,

Так красив и тревожен на небе." ("Зимнее небо")

"В воздухе, полном дождя,

Трубы так мягко звучали." ("Сизий закат")

"Январское солнце не жгуче,

Так пылки его хрустали..." ("Январская сказка")

"Все живые так стали далёки,

Всё небытное стало так внятно..." ("Тоска припоминания")

"Как странно слиты сад и твердь

Своим безмолвием суровым,

Как ночь напоминает смерть

Всем, даже выцветшим покровом. <...>

О тени, я не знаю вас,

Вы так глубоко сердцу чужды." ("Nox vitae")

"И чтобы прядь волос так близко от меня,

Так близко от меня, развившись, трепетала."

("Мучительный сонет")

"Как чисто гаснут небеса,

Какою прихотью ажурной

Уходят дальние леса

В ту высь, что знали мы лазурной..." ("Спутнице")

"О, как печален был одежд её атлас

И вырез жутко бел среди наплечий чёрных! <...>

Как жалко было мне её недвижных глаз <...>" ("После концерта")

"Я хотел бы любить облака

На заре... Но мне горек их дым:

Так неволя тогда мне тяжка,

Так я помню, что был молодым." ("Из строк")

"День так тянулся и дожит ...

И, так бесконечно мягка,

В прошивках красная думочка... ("Прерывистые строки")

и т.д.

Практически во всех вышеприведённых примерах сразу улавливаются две семантические окраски анализируемых слов. Прежде всего

– усиление, эмфаза. В этой своей функции эти слова могут быть замещены наречием "очень": "и будешь ты так далека" – "и будешь ты очень далека"; "я не думал, что месяц так мал" – "я не думал, что месяц очень (слишком) мал" (Точнее было бы: "настолько мал"). Но, в отличие от индийских "очень", "чересчур", "настолько", слова "так", "такой" и т.д. явно восклицательны, выпенные, риторично восклицательны, недаром они столь естественно сопрягаются с архаизированным, чисто риторическим "о": "О, как я понял вас...", "О, как печалён был одежд её атлас!" (ср. у Тютчева: "О, как на склоне наших лет...").

Второе значение, которое сразу усматривается в анализируемых словах, – это характеристика предмета или качества как особых, выделенных. Здесь возможна "синонимическая" трансформация с заменой "так" и "такой" на "особенно", "ни на что не похоже" и т.п. Это значение в первую очередь выделяется в тех случаях, когда "так" присоединяется к цветовым характеристикам предметов:

"так сине пламя" – "по-особому сине пламя",

"так чёрны облака" – "по-особому чёрны облака".

Естественно, что обе эти семантические окраски тесно между собой связаны – "особость" почти наверняка одновременно означает и усиление, повышение, а "очень" означает одновременно и "необычно", как всякое превышение нормы – но тем не менее они явно различаются и имеют отнюдь не совпадающую смысловую наполненность.

"Особость", выделенность качества, отмеченного "такостью", конкретизируется довольно часто (а в прозе повсеместно) за счёт оборота, раскрывающего суть этой особости, причём "так" и "такой" служат при этом в качестве как бы "местоимений", предваряющих этот оборот, замещающих его и на него указывающих (своего рода проспективная анафора). У Анненского такое развёртывание, низводящее его излюбленные слова до анафорических местоимений-связок, встречается в единичных случаях: "Бывает такое небо,

Такая игра лучей,

Что сердцу обидя куклы

Обиды своей жалчей."

Станет ли, что "раскрытие" зашифрованного в слове "такое" качества здесь на самом деле фиктивно, как, впрочем, и почти всегда в подобных оборотах. Обороты эти не называют данное таинственное качество, а лишь показывают его эффект, результат его воздействия,

характеризуют его сугубо косвенно: "Так много ходил, что устал." — ведь здесь не говорится, что человек прошёл, скажем, двадцать километров (то есть нет ответа на вопрос: как — много?), но показывается эффект "такой" долгой ходьбы. Нам остаётся неясным, какое же именно небо "бывает", то есть мы не знаем, каким точным словом охарактеризовать это качество, более того, такого слова нет, по-видимому, вообще, это качество невыразимо, и судить о нём мы можем лишь по эффекту, им производимому. Таким образом, мы обнаруживаем третий семантический компонент анализируемых слов: они указывают не только на усиленные, не только на необычные качества, но на качества, в принципе невыразимые, невербализуемые. Этот компонент значения ещё более усиливается при отсутствии "разъясняющего" оборота, поскольку языковая инерция стимулирует ожидание такого оборота ("такой..., что...", "такой... как..."), оборота, который позволяет хоть как-то охарактеризовать таинственное качество — хотя бы на уровне производимого им эффекта. Анненский в подавляющем большинстве случаев такой оборот опускает, оставляя нас один на один с "так" (как?) малым месяцем и "так" (как?) чёрными облаками.

Невыразимость, вернее, неназываемость, отсутствие адекватного имени может быть восполнено только одним — непосредственным взглядом, непосредственным участием в предлагаемом переживании. Семантически это может быть продемонстрировано с помощью трансформации, апеллирующей к читателю уже не только как к читателю, но и как к со-зрителю, соучастнику, "соседу" по ситуации:

"Как чисто гаснут небеса." — "Посмотри, как чисто гаснут небеса." То есть, посмотри, и как бы сам ответь на вопрос, какова же искомая качественная определённая. Вернее, увидь, почувствуй, переживи эту невыразимую до конца в слове определённую. Иначе говоря, при всей, казалось бы, расплывчатости и неопределённости "искомого" качества, оно предельно индивидуализировано, индивидуализировано настолько, что не поддаётся даже сигнификации, каковая всегда есть в большей или меньшей степени унификации, обобщение. Слова "так", "такой" становятся как бы эквивалентами собственных имён для "невыразимых" качеств, аналогично тому, как указательные местоимения (этот, тот), связанные почти с таким же точно жестом ("смотри, вон тот..."), в каком-то смысле — на что указывал Б.Рассел — являются именами собственными, по-

сколько указывают только на этот, единственный предмет. Это "собственное имя" может быть дано всякому предмету или всякому качеству, но каждый раз только одному, единственному, "этому", "такому". Уникальность именно данного употребления фиксируется уникальностью ситуации, в которую погружён стих (или, шире, речь, высказывание). Таким образом, осмысленность этих слов в качестве имён, их знаковая сущность (то есть то, что они указывают на что-то конкретное и вообще на что-то указывают) раскрывается лишь в ситуации, вне ситуации они ровным счётом ничего не означают – поскольку означают всё, что угодно. Любопытно, что мы без труда найдём в самих стихах формулу, уже трансформированную по вышеуказанному рецепту: "Ты посмотри, какая в мире тишь..." (Маяковский), "Смотри, как стали чётки..." (Анненский).

Итак, рассматриваемые слова апеллируют к непосредственной ситуации, изображаемой стихом. Иными словами, их с полным правом можно отнести к особым, дейктическим средствам языка. Стандартное определение квалифицирует дейктическую функцию, как функцию указания, выделения, дифференциации "посредством соотнесения с лицами и предметами, находящимися в том или ином отношении к говорящему лицу". В словах "так", "такой" нет прямой соотнесённости с говорящим в пространстве (как в случае слов "тот", "этот", "здесь", "там"), или во времени ("сейчас", "потом", временные формы глагола), но они не менее непосредственно связаны с ситуацией произнесения, с говорящим, с его точкой зрения, с его переживанием. Их значение уникально в данной ситуации и меняется вместе с изменением ситуации или субъекта речи – аналогично значению наиболее популярного и бесспорного из дейктических средств – указательного местоимения "этот". Достаточно вернуться к списку примеров, с которого начата эта глава, чтобы убедиться, сколь разные и всякий раз единственные, уникальные качества "обозначаются" одними и теми же словами "так", "такой".

Дейктические средства языка, всё то, что определяет своеобразие речи, высказывания, что неотделимо от ситуации и попросту неопределимо вне ситуации высказывания, и, шире, все те "кодовые элементы, которые в самом коде (в языке как системе) определяются отсылками к речевому сообщению (высказыванию)" (Вяч.Вс.Иванов, в кн. "Категория определённости–неопределённости в славянских и балканских языках", М., "Наука", 1979, с.91) – привлекают очень

большое внимание специалистов по языку — как лингвистов, так и философов — в последние десятилетия. Достаточно назвать такие имена, как Э.Бенвенист и Р.Якобсон, Б.Рассел и К.Рейхенбах. Интерес более, чем оправданный: ведь это и есть та сфера, где язык, как таковой, языковое сознание, сознание вообще смыкаются, сплетаются, сцепляются с миром предметов и ситуаций, с бытием как таковым, причём эта соотнесённость уже по самому определению не может быть "вынесена за скобки", как это, скажем, раз и навсегда сделал Ф.Соссюр по отношению к "обычным" языковым знакам, декларируя их произвольность.

Перед нами не просто характеристика устной речи, высказывания — это точка встречи языка и мира, бытия и сознания, причём точка, поддающаяся вполне строгому лингвистическому анализу. И вполне естественно, что именно в поэзии, которая, в свою очередь, ставит своей конечной целью новый синтез этих расщеплённых сфер, которая пытается создать единое, "третье", "музыкальное бытие" — именно в поэзии использование этих средств должно быть особенно значимо и своеобразно. Это своеобразие обусловлено в первую очередь тем, что интересующие нас средства языка, будучи неотторжимо связаны с моментом речи (с событием речи), характеризуют, естественно, прежде всего устную, разговорную речь, они не только принципиально диалогичны, то есть ориентированы на собеседника ("Смотри, как стали чётки..."), но и принципиально внутриситуативны, они указывают на конкретные предметы и их качества, жёстко связанные с ситуацией, находящиеся "здесь и сейчас", фиксированные жестом говорящего. Если я говорю: "над горой", — то, несмотря на то, что я имею в виду вполне конкретную гору, более того, могу тщательно и досконально её описать, сообщить её точные и единственные координаты и даже имя, уже бесповоротно её индивидуализирующее (например, Эверест), и, тем самым, быть уверенным, что адресат моего текста безошибочно отождествит мою "текстовую" гору с реальной, несмотря на всё это, мой текст сам по себе индифферентен к ситуации: "я вижу гору". С тем же успехом он может быть отнесён к ситуации "я вспоминаю гору" или "я собираю сведения о горе" и т.п. Посредником между адресатом сообщения и объектом служит знак, условно ассоциируемый с объектом по общему соглашению. Место конкретной, предметно наполненной ситуации замещается текстом: мы имеем вместо ситуации текст, хотя

он и связан с нею через сигнификацию. Но когда Фет говорит: "ВОН над той горой" – всё радикально меняется. Теперь адресат сообщения включён в ситуацию, посредника как бы нет вовсе. "Информатор" мог бы вообще избежать "номинативных" (знаковых) слов, сказав вместо "вон над той горой" – "вон там" и махнуть рукой. Своеобразие поэтического текста заключается в том, что поэт, в отличие от реального собеседника в реальной ситуации, этим ограничиться не может, не рискуя полностью разорвать коммуникативную связь. Он должен дать некий минимум информации с тем, чтобы остальная могла быть дополнена имитацией внутриситуативности и жестикюляции. Поэтический текст строится так, как будто это устная речь, со всеми присущими ей "неправильностями", лексическими, синтаксическими, интонационными сдвигами – и со всеми, присущими только устной речи, дейктическими средствами – но, поскольку, в отличие от настоящей устной речи, поэтический текст не обладает всем богатым арсеналом её экстралингвистических возможностей, он принуждён восполнить этот "недостаток" "нестандартным" использованием её лингвистических особенностей, в частности, например, дублированием информации, содержащейся в дейктических и номинативных средствах. Так, в приведённом выше примере в "чисто" устной речи достаточно было бы сказать: "вон там"; в "чисто" письменной: "над горой"; а в поэтическом тексте информация дублируется: "вон над той горой" – поскольку в этой фразе должна содержаться не только конкретная информация о месте действия, но и информация об авторе, о его месте, о его точке зрения, вообще, о том факте, что данная фраза – это его "точка зрения", и, наконец, эта фраза служит размыканию текста в ситуацию, вовлечению адресата в ситуацию, устранению теперь уже фиктивно посредничающего знака "гора" – но без этого посредничающего знака само это размыкание было бы невозможно.

На особую роль дейктических средств в поэзии впервые, по-видимому, указал Вяч.Вс.Иванов в цитированной выше статье.

Развёрнутый и весьма содержательный анализ "поэтического дейксиса" можно найти в монографии И.И.Ковтуновой "Поэтический синтаксис" (М., "Наука", 1986, особенно с.24–61).

Анализ, проведённый этими авторами, может быть дополнен указанием на особую роль личных местоимений в стихах, на, по-видимо-

му, больший по сравнению с прозой и другими, не лирическими жанрами поэзии, удельный вес настоящего времени в лирике, наконец, на наши "так" и "как", которые, не являясь исключительно "ситуационными" ("эгоцентрическими", по терминологии Б. Рассела) словами — а мы уже отметили в начале этой главы иные семантические функции этих слов — свой особый, диссонирующий колорит получают как раз в этом своём качестве — и без них трудно представить себе — и, добавим, понять — поэзию Анпенского.

Всё это вместе взятое говорит не только в пользу сближения поэзии с устной речью, или, точнее, с высказыванием; не только в пользу остроумной и глубокой параллели между лирикой и внутренней речью, поводом И.И. Ковтуновой в упомянутой выше монографии; всё это позволяет, быть может, уловить подспудный смысл всё нарастающее — сквозь весь 19 и весь 20 век — тяготения лирической поэзии к разговорной (или внутренней?) речи.

В чём здесь дело, помимо хорошо понятной — и весьма важной, конечно — дезавтоматизации и взаимоперемещения центра и периферии в духе Тынянова?

Мне кажется, что глубинный смысл всего этого движения новейшей поэзии, этой постоянно самообновляющейся тенденции — в том числе и более широкого использования дейктических средств, эгоцентрических слов — в том же стремлении к разрушению непреодолимой грани между бытием и сознанием, в том же стремлении к созданию нового субъект-объектного единства, "третьего", "музыкального бытия". Стихотворение, имитируя ситуацию — в том числе и с помощью употребления эгоцентрических слов — в пределе стремится к тому, чтобы самому стать этой ситуацией, этим событием. На самом нижнем уровне это выражается в том, что стихотворение стремится стать хотя бы событием высказывания, то есть хочет быть произнесено вслух, а не просто прочитано глазами. Необходимость произнесения (высказывания) заложена в самой природе поэтического текста: мы должны сказать: "во-он над той горой" — слегка протянув "о" в первом слове и чуть дёрнув головой — и без этих "жестов" текст неполон, стихотворение "не случилось", "не произошло".

Но и независимо от этого существует специфика самой ситуации, представляющей в качестве желаемой цели. Если для *cogit*'ного образа — это предметно населённая, реальная ситуация, то в данном случае главный момент — это не заполненность ситуации объектами, но погружённость её в стихию существования, не в стихию предметной определённости, с исходно дезактуализированным модулем существования, и не в стихию фиктивного бытия текста. В частности, такой ситуацией может стать чистая ситуация высказывания ("болтовни"), почти безотносительной к конкретному предметному наполнению (Бродский). Не менее важен момент актуальной нереализуемости стремления, его либо призрачный, либо самоотрицающий характер: нельзя выйти за грань текста, нельзя его разомкнуть, нельзя стать больше, чем ты есть на самом деле. Такой "безнадёжности" нет ни в *cogit*'ности, ни в редукции. Только здесь мы доходим до самого последнего предела, и, пытаюсь выйти за грань, превысить меру, срываемся и терпим поражение.

Вернёмся, однако, к анализу четвёртого, дейктического компонента семантической структуры слова "так" и родственных ему слов, обращая особое внимание на его отличия от семантики более "традиционных" дейктических средств, а именно, указательных местоимений "тот" и "этот".

Отметим прежде всего, что "так" и "как" сопутствуют главным образом наречиям и кратким прилагательным ("так мал", "так гадки", "так нежно"). Иногда наречия опускаются, и "так" и "как" связываются непосредственно с глаголом ("я так люблю...", "день так тянулся"). В любом случае они относятся к предикативной группе в предложении. "Какой" и "такой" сопутствуют существительным ("какая отвага, о боже, какие победы мечты", "какою прихотью ажурной") или прилагательным ("какие подлые не пожимал я руки", "какой тяжёлый тёмный бред"), но в любом случае — к номинативной группе. У Анненского — явный перевес "так" и "как" — в противоположность фету с его пристрастием к "более восклицательным" и тем самым более мотивированным в качестве эмоционально-риторических "такой" и, особенно, "какой" ("Какая ночь! На всём какая нега!", "Какая грусть!.."). "Так" и "как" по отношению к предикативной группе выполняют по сути ту же функцию, что указательные местоимения "тот" и "этот" по отношению к номинативной группе: "так" и "как" относятся к предикатам предметов, указывают

на них, выделяют в качестве единственных, здесь и сейчас сущих, тогда как "тот" и "этот" выполняют те же функции по отношению к предметам как таковым. Употребление в речи слова "так" означает, что субъект речи выделяет некое качество, фиксируя его именно таким, каким оно предстаёт перед его взором; как уже отмечалось, эта качественная определённая единственна и неповторима, и "так" всякий раз означает нечто совершенно новое, то есть здесь мы имеем дело с теми же "лингвистическими индивидуалиями", относящимися к "единожды-рождённому" событию высказывания, о которых говорил Э.Бенвенист. Слово "этот" точно так же фиксирует предмет в целом, данный предмет (или, шире, ситуацию, "положение вещей"). И в этом своём качестве указательные местоимения могут быть в принципе (хотя и с явной натяжкой) замещены словами "такой" и "какой": "этот свод" — "такой свод", "эта резанность линий" — "такая резанность линий". Правда, такая трансформация становится уже невозможной, если у указуемого предмета имеется какое-нибудь определение. Тогда, замещая "застылость этих чётких линий" на "застылость таких чётких линий", мы переносим индивидуализирующий акцент с самого предмета ("линий") на его качество ("чётких"). Конечно, местоимение "этих" относится ко всей группе, то есть к сочетанию "чётких линий" в целом: этих линий, именно этих, чётких — а не исключительно к существительному "линий", но всё же перенесение акцента на качество при указанной трансформации ("этих" — "таких") вполне оцутимо.

Как уже говорилось, "какой" и родственные ему слова в значительно большей степени являются указателями качественной определённости, единственности, причём даже в тех случаях, когда "такой" и "какой" относятся непосредственно к предметам (то есть к существительным) ("Какая ночь!" (Фет); "какая в мире тишь" (Маяковский); "такое слышалось горе, такая страсти глубина!" (Тютчев). "Эта ночь" — это всего лишь дефиниция, пускай "остенсивная", то есть сопровождаемая жестом, неважно, внутренним или внешним; это уточнение, выделение, то есть "эта ночь" означает попросту "данная ночь", "the night", в то время как "такая ночь" означает не только "данная", "фиксированная", но ещё и "качественно определённая". Конечно, фиксируя "эту ночь", я тем самым имплицитно

полагаю все её характеристики, все её качества – но только имплицитно, реально в тексте эти характеристики не даны и предполагают неявный выход из текста в ситуацию. Не выходя за рамки текста, но в то же время и не фиксируя качество настолько, чтобы распалась связь с ситуацией, я качественно определяю предмет, лишь вводя характеристики "такая", "какая". (или, в ещё большей степени, "так" и "как"). При этом конкретизация, расшифровка того, что скрывается за этими словами, опять же остаётся вне текста. Но теперь текст не просто указывает на нечто, в нём не содержащееся, не просто "разомкнут", теперь он в значительно большей степени не впадает в ситуацию, но вбирает, втягивает саму эту ситуацию в себя, разомкнут не только потенциально, но и актуально, благодаря наличию качественно уникализующих "шифтеров". Не менее важен и сам факт появления хотя бы "редуцированной" характеристики предмета (ситуации): она даёт тот минимум информации, без которого исчезла бы почва для редукции, исчезла бы сама возможность недосказанности; появление "такой" характеристики свидетельствует о том, что некое качество как минимум есть, существует, что у предмета есть определённость (и она дана непосредственно в тексте) и, значит он сам есть не только как знак, но как предмет. Чтобы возникла "недоговорённость" надо всё же хоть что-то сказать; убирая посредствующие звенья важно вовремя остановиться, чтобы вовсе не лишиться опоры внутри текста остающейся вне его.

Но, как уже отмечалось, даже при наличии "разъясняющего" оборота ("так..., что...") сам факт не прямого, а эффективного описания качеств в этом "разъяснении" придаёт этому качеству ореол невербализуемости, не-сказанности, своеобразной таинственности и неопределённости. То есть даже при существенном снижении, а то и полном снятии "эгоцентричности", ситуативной погружённости рассматриваемых слов; эффект недоговорённости, редуцированности сохраняется в них в любом контексте. Это очень важный момент: мы уже касались в предыдущих главах того значения, которое имеет в поэзии чистая "энергия недосказанности", редукция сама по себе, то самое "ослабленное существование" качеств, предметов, слов и даже целых кусков текста (вспомним пропущенные строфы в "Евгении Онегине" или "Поэме без героя"). Рассматриваемые нами слова в полной мере обладают запасом этой "энергии", и в этом –

ещё одна важнейшая их функция, ещё один существенный компонент их значения. Эффект характеристик "так" и "такой" как раз и состоит в предельном редуцировании качеств в презумции их полной (остенсивной) определённости. Важно подчеркнуть, что в самой реальной ситуации никакой редукции нет: мы непосредственно видим и переживаем "такие чёрные облака" или "вон ту гору". Точно так же, как нет никакой редукции в "простом" "прозаическом" тексте: информация, передаваемая фразами "над соседней горой" или "очень чёрные облака", поневоле неполна, как неполон всякий знак по отношению к означаемому им предмету, но неполнота эта не становится его конструктивной чертой, не становится частью его смысловой структуры, как это происходит в поэтическом тексте с его "так чёрными облаками" и "вон той горой" — в отсутствии этих облаков и этой горы. Редукция оказывается свойственна прежде всего поэзии; в данном случае в связи с тем, что стих, будучи текстом, стремится стать событием, ситуацией, то есть оказывается в той промежуточной (переходной) позиции, когда текстуальная определённость и фиксированность уже утрачены, а ситуационная, предметная ещё не обретены (и, добавим, обретены быть не могут в принципе). Этот промежуточный, двойственный характер поэтического текста и приводит к возникновению феномена редукции, феномена "ослабленного существования".

Мы уже знаем, в чём заключается секрет этого парадоксального сочетания предельной редукции (ведь ничего конкретно не сообщается, как же всё-таки чёрны облака?) и предельной же индивидуальности (вспомним расселовское сравнение указательных местоимений с собственными именами, термин Э. Бенвениста "лингвистические индивидуалии"). В устной речи никакого парадокса нет, поскольку, как мы только что выяснили, там нет никакой редукции, и "лингвистические индивидуалии" отвечают реальным индивидуальным объектам, составляющим как бы "реальный контекст" устной речи. Парадокс поэтической речи разрешается тем, что в ней к указуемому словом "такой" конкретному качеству присоединяется фиксируемое им же дополнительное качество, качество качеств, предельно общее и в то же время предельно индивидуализированное, то есть как бы вбирающее эту парадоксальность в себя. А именно, анализируемые нами слова означают предельно общую характеристику предметов, то есть то, что они есть, существуют, свойство "быть". Их погружён-

ность в ситуацию, индивидуализация во многом обусловлена тем фактом, что "быть" вообще — нельзя; быть, существовать можно только "здесь-и-сейчас", а не где-то и когда-то. "Этот синий свод" фета — это не только "вон тот", тот, который я вижу, на который указываю взмахом руки — при такой интерпретации акцент переносится на видящего, указующего, говорящего субъекта — но это в первую очередь "суший синий свод", единственное и неповторимое бытие которого я переживаю в данный момент и фиксирую это переживание, это бытие словом "этот". И интенсифицированная в дейксисе субъективность — ведь слова эти отчётливо и безапелляционно уже по определению термина "дейксис" фиксируют точку зрения говорящего: он и только он, знает, видит, чувствует какой именно "этот" и как именно "так" — интенсифицированная субъективность эта отнюдь не случайно сопрягается с интенсифицированной же "естью" объекта: "новое", осмысленное бытие раскрывается лишь в переживании, хотя отнюдь в нём не содержится и к нему не сводится. Таким образом, естество здесь как бы скрепляет, внося дополнительный семантический нюанс, редуцированность и ситуативность; переживание естества становится коррелятом реального бытия указуемого предмета, каковое в реальной ситуации обесмысливает само понятие редуцированности, могущее относиться лишь к тексту. Здесь же это лишь коррелят, отчасти и порождаемый самой этой редуцированностью.

Одной из основных отличительных характеристик редуцированности (и естества) является присущая ей повышенная энергетичность, напряжённость, тревога. Эта интенсифицированность, невыносимость акта рождения нового бытия отчётливо выявляется, как это отмечалось и ранее, в эмфатичности наших "эгоцентрических" слов (в частности, в присущем им значению "очень"). Заметим, что и указательные местоимения (в особенности "этот") имеют некий оттенок эмфатичности, хотя и значительно слабее выраженный (см. монографию И.И.Ковтуновой). Эта "ослабленная" эмфатичность указательных местоимений коррелирует с ещё одним важным их отличием от слов "такой", "так" и др. Дело в том, что "такой" явно фиксирует не только точку зрения субъекта речи, не только его взгляд и жест, но и переживание указуемого предмета, указуемого качества. В местоимении "этот" переживание как бы вынесено за скобки, оно может приноситься общей интонацией целого текста, через целое отбрасыва-

ется тень и на слово "этот", актуализируя и многократно усиливая его весьма рудиментарные и факультативные по сравнению со словом "такой" эмоциональные потенции. Вспомним хрестоматийное фетовское:

"Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод..."

Здесь вне перечисления, вне этого нагнетания именных предложений, в которых предметные указания перемежаются с непосредственно эмоциональными ("радость эта"), то есть изолированно, "этот синий свод" звучал бы почти индифферентно. В то же время даже вне контекста целого стихотворения образы "так близко от меня" или "как эти выси мутно-лунны" повышено эмоциональны. Иначе говоря, "так" и "такой" указуют не только на предмет и его качество, не только фиксируют точку зрения говорящего, не только внедряют текст в ситуацию — они указуют также и на переживание субъекта речи, не просто имплицитно содержат его, выделяя "естьность" предмета, немислимую вне переживания — как это происходит в случае указательных местоимений — но явно и непосредственно это переживание указуют, точнее говоря, содержат его в качестве одного из существеннейших компонентов значения. Особую окраску этому переживанию придаёт принципиально присущая и также явно содержащаяся в структуре значения слов "так", "такой" невыразимость, невербализуемость указуемых качеств и одновременно точно такая же характеристика субъекта, характеристика переживания — то есть его, переживания невыразимость, невербализуемость. Само это напряжение — в дополнение к общей интенсифицированности — напряжение несказанности, невыразимости знаменует собой ту самую тягу и неразрешаемость переломного мгновения, которой была посвящена первая глава. При этом следует подчеркнуть, что не последнюю роль в создании всего этого, столь значимого для Анненского комплекса, играет грамматическая инерция: в "правильно" построенной речи "так" и "такой" чаще всего, как уже отмечалось, сопровождаются поясняющим оборотом ("так..., что...", "такой..., что..."). Опускание этого оборота Анненским способствует возникновению столь характерной интонации оборванности, недосказанности, замирания и иссякания — на взлёте, на взмахе, в кульминации — к тому же "так" и "такой" своей эмфатичностью так же, как и присущим им оттенком "особости", "выделенности" эту кульминацию

подчёркивают. И не случайно предложения, содержащие "так", Анненский нередко заканчивает многоточием — знаком, непосредственно фиксирующим этот обрыв: "так чёрны облака...", "и будешь ты так далека...", "Я не думал, что месяц так мал// и что тучи так дымно далёки..."

Анненскому вообще присуще пристрастие к эмфазе, усилениям, чрезмерностям всякого рода. Одним из характернейших средств усиления, нагнетания является постоянное использование им прилагательных сравнительной степени. Они въяве фиксируют не только самый факт "возрастания", "усиления" какого-то качества, но и непосредственно сам процесс этого возрастания, усиления:

"Всё мельче сеял дождь,

Но глуше и туманней."

"И стали и скамья, и человек на ней

В недвижимом сумраке тяжеле и страшней..."

Прилагательные сравнительной степени, особенно в их "процессуальной" модификации, предпочитаемой Анненским, также по своему дейктивны. Ведь нарастание качества, сравнение его с самим собой в недавнем прошлом предполагает обязательную отнесённость к единству воспринимающего сознания, присутствующего здесь и сейчас и это сравнение осуществляющего; сравнение предполагает строгую соотнесённость с моментом речи — как и положено для дейктивных средств — нечто становится "всё безответней и глуше" — в данный момент, в момент речи — в сравнении с предшествующим — опять-таки по отношению к моменту речи — моментом.

Функциональная близость прилагательных сравнительной степени к словам "так", "такой" может быть дополнительно оттенена естественностью соответствующей трансформации: "Никогда бледней не стыла просинь" — "Просинь никогда не была такой бледной". "И снегов не помню я мертвей" — "Я не помню, чтобы снега были так мертвы". Близость рассматриваемых приёмов у Анненского позволяет уловить ещё один, быть может не столь явный оттенок значения у самих анализируемых нами слов. Им присуща своеобразная градуировочность, то есть у них можно почувствовать оттенок семантики сравнения. "Так чёрны облака" означает не только "очень чёрны" и "по-особому" чёрны", но и "чернее, чем были", "черней, чем всегда". В соединении своём эти три компонента значения порождают ещё один "градуировочно-уникализирующий" смысл: "так чёрны, как никогда".

Но мы помним, что эмфатичность вообще и в том числе эмфатичность слов "такой", "так" и, особенно, "какой" и "как" означает не только интенсификацию бытия и переживания, не только кульминацию момента перелома, но что сами по себе эти слова риторичны, выпрєнни, если рассматривать их по отношению к непосредственности текста. Мы помним, что эта двойственность ("риторичность" V S "вещность"), обнаруживающаяся здесь даже в рамках одного из оттенков значения одного единственного слова, есть отражение глубинной двойственности всей поэтики Анненского.

Вернемся ещё раз к этому феномену, обогатённые пониманием смысла и сути "вещной ипостаси" Анненского, его "дейктичности". Не станем упрощать ситуацию, сводя всё многообразие этого поэтического мира к двум, пускай и достаточно ёмким понятиям. Но именно в их несочетаемом сочетании, в их внутренне напряжённом родстве, ярче всего выявляемых в тех самых "так" и "такой", и кроется, пожалуй, самая суть моего восприятия Анненского — не будем столь самонадеяны, чтобы утверждать, что это и есть

суть самой поэзии Анненского, хотя, впрочем, где ещё, кроме нашего восприятия, этой сути и пребывать, ведь мы только и делаем, что настырно убеждаем терпеливого читателя, что "истинный" объект есть — лишь в восприятии — в высшем смысле такого простенького слова "есть", прикидывающегося не более, чем некой связочкой, грамматическим курьёзом, не стоящим серьёзного разговора. Да и столь ли уж случайно это сочетание несочетаемого, это родство враждебного — случайно, как всё относящееся к одному конкретному человеку, родившемуся слишком рано и умершему тоже как-то невпопад, имевшему почти болезненную страсть к накрахмаленному белью и не изменявшему этой страсти даже в деревне, женившемуся на энергичной и, по-видимому, не очень-то наделённой вкусом вдове, старше него на 14 лет, и любившему, безнадёжно и сурово, жену своего пасынка, к надменному и тонко чувствующему действительному статскому советнику — ведь всего этого, вернее, чего-нибудь из этого и впрямь странного набора — хотя у кого из нас этот набор безукоризненно естественен и самосогласован? — любой какой-нибудь мелочи могло и не быть, и тогда, глядишь, от высокопарных виршей Надсона и Фофанова мы плавно перешли бы к сдержанному и достойному психологизму Ахматовой, к её миру простых и значимых вещей — и не было бы этого сочетания, этого родства,

этой изломанной, переломленной и переломной поэзии – или же и здесь есть иной тайный смысл и некое недопонятое указание?

Приглядимся к тому, каким тоном мы чаще всего начинаем разговор на "метафизические" темы – сколько патетики, экзальтации – случайно ли это? Нет ли здесь потаённого родства с "такой" риторичностью Анненского? Да и каков вообще психологический коррелят этих "квазипрагматов", то есть, что это за особые состояния сознания, в которых мы соприкасаемся с "иным"? Особый, новый, усиленный контакт с миром подразумевает выход за рамки сознания, то есть экстатичность своего рода, это состояние экстаза, экзальтации, восторга. (Оговорюсь, что я не считаю это единственной возможностью. Но, приглядевшись, мы обнаруживаем некую тайную дрожь даже в иной демонстративной и сухой уравновешенности.) Таким образом, экстатичность эта (воплощённая в тексте риторичностью) оказывается своеобразным психологическим коррелятом "вещности", "ситуативности", "процессуальности", "дейктичности", которые ведь тоже несут в себе заряд экстаза, выхода из рамок, продления за грань: за грань текста, за грань индивидуального сознания, за грань обычного бытия. Противоположность снимается – на более глубоком смысловом уровне, не переставая при этом оставаться противоположностью на уровне феноменологии.

В первой главе мы посвятили немало места анализу структурно-идеологической значимости феномена "экстазиса", "вне-себя-бытия" в русской культуре, мы выделили этот феномен как одну из центральных её парадигм. Теперь мы видим, что, в сущности, тот же феномен является как бы психологическим эквивалентом иного бытия, творимого поэзией. Такое неожиданное схождение культурно-исторического и онтологического аспектов одного и того же явления, быть может, позволит нам яснее почувствовать те ценности, что таит в себе означенная "русская парадигма": оно ужасно, это постоянное превышение себя, эта внутренняя готовность к самозванчеству, к самоотторжению и самооплёвыванию – они ужасны, эти мои глубокомысленные и выспренные отступления и сопровождающие их жалкие самоуничтожения – но ведь именно здесь, где-то здесь, в этом нагромождении нелепости, лжи, извращения самых простых понятий – где-то здесь путь к некой, быть может, причинной истине, прорыв к некому смыслу и оправданию. И уже в

этом, странном и неизбежном сочетании в только что произнесённой бразе "лжи" и "истины" — не только в одном предложении, но в одном, целостном феномене — мы чувствуем глубокое и отнюдь не случайное основание столь же странного и столь же неизбежного сочетания "риторичности" и "ситуативности" в поэзии Анненского, в едином слове, как бы в спрессованном виде это сочетание выражающем — в слове "такой".

Трудно провести грань между вдохновением, экстазом, мимикрией самопреодоления, когда "кто-то водит твою руку", и исторической самоэкзальтацией, мимикрией под пророчествующего. И риторика является как раз естественной формой выражения подобной самоэкзальтации и псевдопрорицаний. Именно риторикой прикрывают ложь самозаклания, ложь отказа от себя. И потому её сопряжение с вещностью имеет глубочайший смысл — это две стороны одной медали, и через эту выпренность и ложь лежит, быть может, путь к истине... Но нам слишком хорошо известно, куда завела Россию "риторика" и чего ей стоила реализация её парадигм. Мы слишком долго жили и живём в атмосфере всепоглощающей и всемогущей лжи, чтобы иметь право иезуитски предположить, что ложь может быть путём к правде, что они могут быть "двумя сторонами одной медали". Скорее всего я попросту кругом неправ — но сам я — такой, и не способен ни на что иное. И Анненский — мой Анненский — "такой", и никуда от этого не деться, и это наша общая история и общая судьба.

Когда-то давно я сформулировал эту альтернативу рискованного в своей возможности впасть в пустую ложь воспарения и честного достоинства в виде дихотомии истины и искренности. "Истина" оказалась почти невозможной для нас, она оболгана и дискредитирована — и недаром мы так любили Бродского и Кушнера, пытавшихся проложить к ней совсем иные пути. Но от себя, от судьбы, от образца не уйдём — искренность мне не по силам — хотя это вовсе не означает, что я пребываю в "истине".

Я не верю в риторику, ненавижу экстаз, но пишу об Анненском, так пропитанном этим и всё-таки сумевшим — причём никоим образом не "несмотря", а скорее "благодаря" — стать тем, кем он стал — для меня, для поэзии, для русской культуры. Пишу в тайной надежде на отклик — хотя бы в давно прошедшем, пишу, не умею быть "уместным" и "искренним". Хотя и сознаю, насколько это не ко

времени. Наше время ушло. Безвозвратно. Я сам нахожусь в этом *plusquamperfectum*, в этом сослагательном наклонении, в этом так и не зафиксированном в неизблемой определённости игра, так и не реализованном наречии "так" – в слове навсегда остающемся лишь тягост, порывом, возможностью.

На этом, полном приличествующей печали аккорде следовало бы закончить третью главу, а с нею и всё это повествование.

Позволим себе, однако, ещё одно замечание. Мы говорили о стремлении стиха самому стать событием, а не довольствоваться ролью описания события, стать событием или хотя бы событием высказывания, то есть произнесения вслух. Эта тенденция также имеет глубинные корни и неожиданные подчас формы проявления. Поэзия стремится сама творить новый объект, "поэтическую материю", и, таким образом, стихотворение стремится стать этим самым актом творчества самого себя, поскольку оно в пределе совпадает с творимым объектом. (В этом, собственно, суть перформативности поэзии, о которой мы упоминали в предыдущих главах.) Эта предельная внутренняя самосогласованность поэтического текста снижается при преобладании ориентации на внешнее оправдание: ищем ли мы его в реальности (Анненский) или в культуре, в мифе (Вяч.Иванов). Эта самосогласованность реализуется в полной мере лишь при ориентации на имманентное стиху переживание слова (Мандельштам) – при том, что эта поэзия вбирает в себя многие открытия обоих "учителей" – Анненского и Вяч.Иванова. Но есть и другая сторона, другой аспект этой проблематики. Чем дальше, тем в большей степени поэзия стремится стать уже не только событием, но деянием, поступком, формой поведения, наконец. Какие удивительные двигательные, жестовые фигуры демонстрирует нам Кушнер в своих сборниках, как похожи на форму поведения его инверсии и перечисления, как они двигательно и лично мотивированы. Впрочем, мы уже говорили об этом... давно... лет девять назад... Но тогда мы не знали, что от этих инверсий и перечислений тоже тянется, причудливо переплетаясь с иными нитями, прерываясь и вновь выплывая из тьмы, тоненькая ниточка к "такому" Анненскому. Теперь мы знаем это. Велико ли приобретение? Нет больше ли потерь? И Кушнер не тот, и мы не те, и время ушло. Да и при чём тут Кушнер? Мы ведь всего лишь пытались по мере сил выявить семантику слов "так", "такой"

и увязать её с некоторыми принципами поэтики Анненского. И на этом пора закругляться...

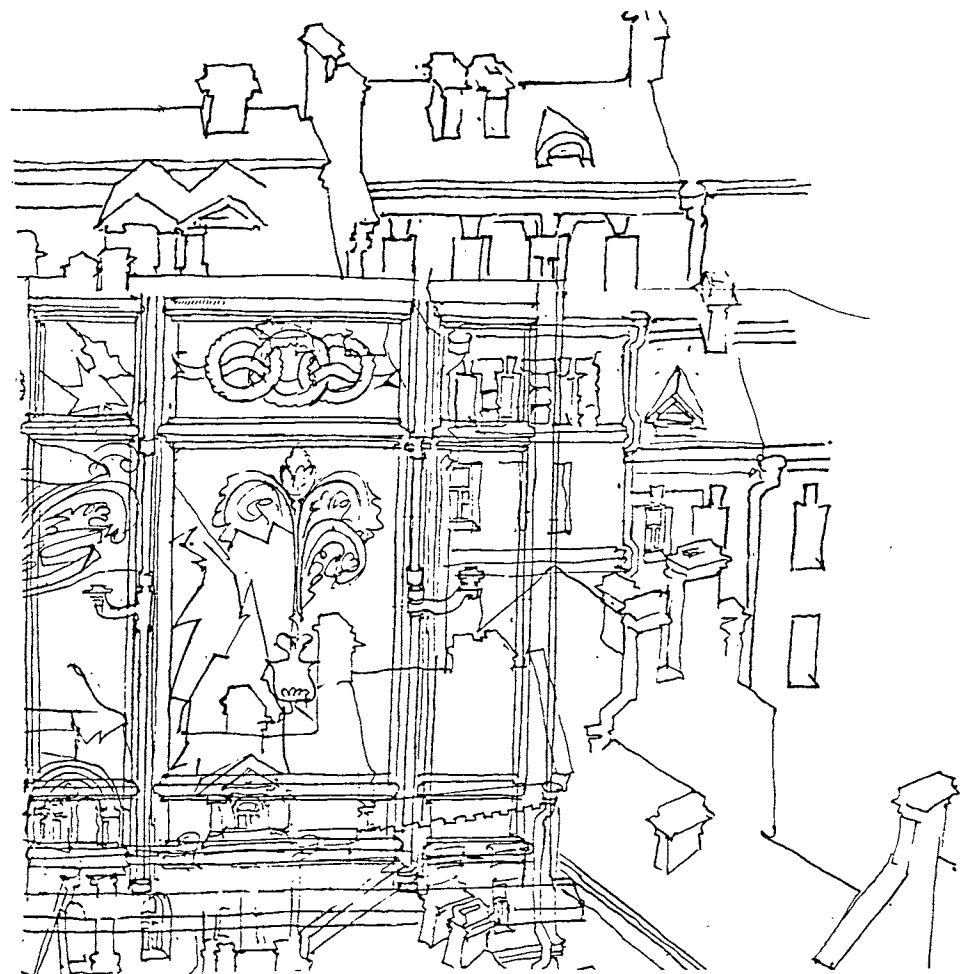
Оборвав на полуслове, махнув рукой, теряя смысл...

Далеко ли мы продвинулись, добравшись всё-таки до конца, петляя по кругу и вновь возвращаясь к началу? Не дальше одного слова. Но и этого оказалось для нас слишком много. Мы лишь приоткрыли его, загляделись до рези в глазах, и теперь пора, теряя равновесие, упасть, совпасть с ним, раствориться в нём, возвращая этот текст в законную, застращивающую реальность...

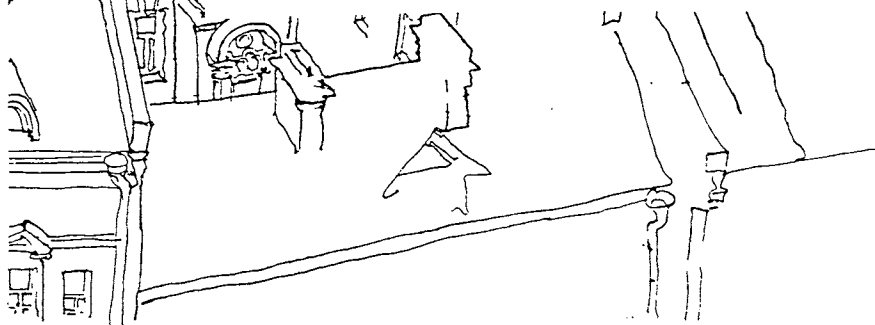
Между тем темнеет. За окном – серый февральский день, незаметно переливающийся в вечер. Ворона пролетела, тяжело махая крыльями. Низко стелется грузный дым из трубы котельной напротив. Буквы на бумаге почти неразличимы, наползают друг на друга, сливаются с оседающим сумраком... Скоро наступит ночь... Так чёрны облака...

1980 – 1988





"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ
СРЕДИ ВЕКОВ...!"



186



Милая-девушка моя, не
забывай и думать тебе
идти-ся к царскому, Вера.
30^{ое} июля 1903г.

У него глаза такие,
что запомнить каждый должен.

(Анна Ахматова)

5/X/44. Он был высокий и стройный. Был ли он красив, не знаю, но в нём было обаяние и значительность больших людей. Звали его Алекс <андр> Алекс <андрович> Блок.

12/XI/44. Встречалась я с ним не часто, но слышала о нём много. Впервые познакомилась с ним в изд <ательстве> Всемирн <ой> Литературы ещё на Невском. Для меня это был праздник. Мне предложили переводить стихи Гейне, если он найдёт меня этого достойной. Он заинтересовался моими переводами, и я работала у него. Отзывы его и до сих пор являются одной из радостей моей жизни. Подлинники, как и письма, приобретены Лит <ратурным> Музеем им <ени> Бонч-Бруевича в Москве. Влад <имир> Влад <имирович> Бонч-Бруевич сам^х кое-что у меня принял из рукописей и мой портрет небольшой (масло) работы З <инаиды> Серебряковой.

От Ал <ексан> дра Ал <ексан> дровича Блока у меня осталась только третья книга стихов изд <ательства> Мусaget с надписью: "Вере Аренс Александр Блок. 1919 г."

"Nacht lag auf meinen Augen, I)
Blei lag auf meinem Mund".

Эти стихи Гейне я переводила для Всемирной Литературы. И он остался очень доволен моим переводом.

х) Он жил тогда в Астории, приехав в Ленинград на время.

1) Глаза мне ночь покрыла,

Рот придавил свинец... (нем.)

Автограф Блока из собрания И.Г.Эренбурга (Москва). Надпись на книге: "Стихотворения". Книга третья. М., "Мусaget", 1916 г.

(Примеч.: здесь и далее - ред.).

Вера Аренс — Александр Блок

Генрих Тейке

изд. и всеобщий

перев. Верк

Глаза мне ночь сомкнула,
Рот пригавил свинец,
В гробу с остывшим сердцем
Лежал я, как мертвец.

Как долго, чужд не знаю
Тоскал я так, но вдруг
Тоскнулся я и слышу:
Юный гроб раздался стук

« Оставай скорее, Генрих!
День ветхий засидел,
И мертвые воскресли,
И счастье в век настало. »

- Любовь моя, не встать мне,
Горькая слеза
Давно уж ослепила,
Выжгла мои глаза.

"Дай с глаз твоих, о Генрих,
Лобзаньем ночь прогнать;
И ангелов, и небо
Ты должен увидеть".

- Любовь моя, не встать мне,
Струится кровь рекой,
Ты сердце уколола
Мне словом, как иглой.

"Тихонько сердце, Генрих,
Ружой прикрыть позволь,
И кровь не будет литься,
Утихнет сразу боль".

- Любовь моя, не встать мне,
Пробит насквозь висок;
Стрелял в него я, знаешь,
Когда украл тебя рок.

"Я локонами, Генрих,
Висок могу зажать,
И кровь уйдёт обратно,
И будешь здоров опять".

Так сладостно просила,
Не мог я устоять,
Хотел навстречу милой
Подняться я и встать.

Тогда раскрылись раны,
Рванулся из груди
Поток бурлящей крови,
И я воскрес - гляди!



15/XI/44. Работала я у Блока радостно, охотно, малейшие оттенки и удачи его радовали, также, как и меня. У меня сохранились копии с его писем, отзывов, тех, что мне удалось сбересть. Блок очень строго относился к неточностям и вольностям, но как он ценил всякое достижение. И в одном стихотворении мне удалось сохранить даже рифму "Лаокоон" и расстановку слов.

"В сильных объятых тобою
 Обвит я уже оплетён
 Прекраснейшею змеёю
 Счастливейший Лаокоон" и др.

Ещё "Ах я не верю в небо" им отмечено, "другие боги вздор" тоже хорошо и смело, а перед тем: "Пастор", по-моему, находка" и др.

Генрих Гейне
Перевод Веры Аренс

Ах я не верю в небо,
О нём твердит пастор,
В твои глаза лишь верю,
Небесный свет - твой взор.

Не верю также в бога,
О нём твердит пастор;
В твоё лишь сердце верю,
Другие боги - вздор.

Не верю в злую силу,
Ни в муки я, ни в ад;
В твоё лишь злое сердце
И в твой я верю взгляд.

Но это к слову пришлось. Строгость не мешала ему быть любезным со всеми и внимательным. В жизни дома я его не видала, но во "Всемирной Литературе", в "Клубе Поэтов" на Литейном, в частной квартире одного моряка, где устраивали читку стихов и чаепития, везде он был прост, тактичен, радушен.

Издание 1900
Всемукая Шунтанька
Государственное Издательство
Менделеевский, Москва 36, май 479-32, 73-32, 51-19, Москва, Пушкинская 125-65

№ 2863
Отд.

A

Апр 192 5



АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Правление: Москва, центр Никольская, 10. Тел. 4-34-37
Отделение в Ленинграде: пр. Володарского, 53-6. Тел. 2-43-08 и 1-38-98
Для телеграмм: Москва, Издательство

НАСТОЯЩИЙ
ЛИСТ
ИЗ
КНИГИ

114527 20/VI 1935

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Адрес для писем: Москва, 19, ул. Маркса—Энгельса, д. 18

ЛЕНИНГРАД.

Серпуховская, 48, кв. 11

Вере Евгеньевне

ТАКЖЕ—АРЕНД.

118005

Адрес для телеграмм: Москва, ЦЕНТРОДТИ, 118005



В случае ненахождения адресата просим вернуть обратно.

Смирнов

21 октября 1919 г.

Вера Аренс — Александру Блоку

"...Меня тянет к Вам не как к великому поэту, но как к настоящему человеку, что почти так же редко встречается, хотя, может быть, Ваш ореол также придаёт Вам обаяние. Но будь Вы самым простым смертным, я думаю, что мне также бы хотелось подойти к Вам ближе. Вы вообще внимательны и доступны всем, но я всё-таки чувствую какое-то равенство с Вами, увы, не по таланту, но может быть, по характеру, по искренности, нежности, есть ещё и другое. <...> Если бы Вы были иностранцем, Вы бы могли подумать, что я или ненормальная или влюблена в Вас, но Вы русский, а потому всё Вам понятно".

(ЦГАЛИ, ф.55, оп.1. ед. хр. 132, лл.1-2.)

28.X.1919.

Многоуважаемая
Вера Евгеньевна.

Среди всего, что нас окружает, я совсем разучился и думать и говорить в том направлении, какое в Вашем письме. К тому же, сейчас как-то всё обострилось, и это отражается на семье. Каждый почти день — большой труд, кончающийся победой, или поражением, чего прежде не бывало, и личное ушло, и всё ещё не знает, где, среди каких развалин, ему вновь начинать расти, и начинать ли.

Вот какое у меня чувство; с ним я читал Ваше письмо, оно мне было приятно, но немного страшно в том месте, где Вы говорите о "человеке". О себе это плохо знаешь и не всегда в это веришь. Кроме того, я привык говорить с массой людей о "делах" и совершенно отвык говорить с кем-нибудь о "душе". Несмотря на всё это, письмо было приятно. Да, вероятно, в нас с Вами есть сходное; я тоже не совсем русский, как и Вы, кажется; и другое. Будем ждать, чтобы судьба нас познакомила.

(Из архива В.Е.Аренс)

Ал <ександр> Блок.

Вера Аренс — Александр Блок

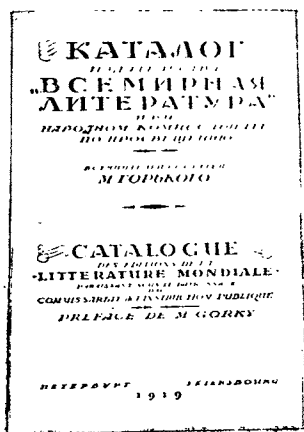
20/1/45. ...И возвращаюсь опять к Блоку. У меня побаливает голова, в комнате <...> прохладно и я надела спортивную лису без рукавов. Это всё относится к дневнику, а не к Мемуарам. Но от себя не уйдёшь.

Итак я помню особенно два вечера (м.б. даже 3) в гостепр<имиином> доме на Литейном (с отсутствующим хозяином-моряком). Один вечер был такой. Я, разумеется, опоздала, т.к. от угла <а> Обводного и Серпуховской до Лит <ейного> возле Кирочной, но с другой стороны - далеко идти пешком. Даже вспомнить странно, что я так далеко шагала пешком. Когда я пришла, часть чтения уже прошла, но чаепитие ещё кончалось. А.Блок приветливо поздоровался со мной и предложил мне кусок оставшейся ватрушки с повидлом (тогда повидло было вкусное), а Н.Грушко²⁾ чашку чая. Я, разумеется, с удовольствием съела потому, что не каждый день предлагает что-нибудь Блок, но и ватрушка стоила того. Чашки некоторые приносили с собой (кто ближе жил). После ещё нескольких хозяйственных хлопот, Блок закрыл трубу, это можно было сделать легко и чисто, поворотив ручку в заслонке. Но всё же это было интересно видеть Ал <ександра> Ал <ександровича> не читающим стихи, не редактирующим, а так запросто. После читали ещё стихи (о себе в этот раз не помню), но что именно и кто постараюсь вспомнить. Был как всегда В.Рождественский. В следующий раз после собрания и чтения; этот раз не помню чайной процедуры, все немного заговорились и засиделись, а ходить поздно не разрешалось. Это было в ?.. году, попутчики собрались вместе. В нашу сторону (к Технологическому) шли четверо - Блок, я, Павлович³⁾ и К.Эрберг⁴⁾. Мы пошли цепью под руку. Блок, Павлович, Эрберг и слева крайняя - я.

2) Грушко Наталья Васильевна (Островская, 1898 - 1930-е) - поэтесса.

3) Павлович Надежда Александровна (1895 - 1980) - поэтесса, переводчица, мемуаристка.

4) Эрберг Константин (Константин Александрович Сюннерберг, 1871 - 1942) - теоретик искусства, художественный критик, поэт, переводчик.



195

Шли сравнительно быстро, но временами проваливались (особенно на Загородном), мостовая была плохая, освещения как будто и вовсе не было. Дойдя м.б. до Чернышева, а м.б. немного дальше, Блок и Павлович свернули (Блок жил, как многим известно, на Пряжке). Я и Эрберг шли до Серпуховской вместе, там он пошёл в свою сторону — Клинский, 27? Когда шли, пришлось миновать патруль, сердце билось, боялась, что остановят, на Детскоесельском вокзале часы показывали несколько минут после 12-ти ночи (полуночи). Остальной путь, когда я очутилась одна, почти бежала и удивлялась своей смелости, как это я проделала всю дорогу туда и обратно, а сил то у меня всегда было немного, да ещё плохо питалась.

3-й вечер А.Блока не было. Была Ахматова, Н.Г.⁵⁾, как будто Оцунь⁶⁾, Грушко, ? Полонская? Брат Полонской. После 5-ти углов я шла одна. Об этом вечере м.б. ещё напишу дальше. Помню вечер чтения Блока в Доме Мурузи. Было уже светло и тепло, как ранним летом. Ал <ександр> Ал <ександрович> читал много любимых стихов из 3-й книги так хорошо, так тепло, так ясно для нашей маленькой аудитории из поэтов. Все затаили дыхание. "Уж не мечтать о до-блести, о славе" и т.д. Как всё это волновало.

После чтения он подошёл к некоторым из нас и поговорил. Я так горячо, с восторгом его благодарила, а он поцеловал мне руку, и т.к. это был единственный раз, то я запомнила навсегда. Потом подробнее всё разберу. А пока скажу, что его смерть потрясла меня. Об этом напишу в другой раз, сегодня и без того горестные мысли овладевают мной. Мне и теперь трудно приходится, а будет, вероятно, ещё труднее. Ну, о своих задачах я уж здесь писать не буду!

13 июля /30/VI/

1921 г.

Вторник 9-го августа. Вчера меня, как громом поразило известие о том, что в воскресенье утром в 11 ч. 7/УШ умер А.Блок. Я знала, что он тяжело болен, но что безнадежен не слышала. Мне страшно грустно и глубоко жаль его и чувствую, что это общая наша потеря и огромная, которой все глубоко потрясены. Как человека его тоже очень любили и у всех мужчин и женщин глаза заплаканные.

- 5) Николай Гумилёв. О взаимоотношениях Н.Г. и В.Е.Аренс — см. "Сумерки" № 6.
- 6) Николай Авдеевич Оцуп (1894 — 1958) — поэт, прозаик, литературный критик, литературовед, член "Цеха поэтов".

В редакции Всемир <ной> Лит <ратуры> панихиды не было.

Среда 10-го. Была на выносе тела А.Блока и на похоронах. Шла как на богомолье с благоговейной скорбью и чистой печалью. Жаль, что "Судьба" не позаботилась познакомить нас ближе. Правда, я ей не помогала, не желая быть навязчивой по отношению к Блоку (а не к судьбе). Только страсть преодолевает преграды, а дружеское расположение очевидно слишком пассивно. Но всё же жаль, что прошла почти мимо истинно человеческой, хотя и не крепкой, не мужественной души.

Горе современникам, не сберегшим такого поэта от преждевременной смерти.

13 августа. ...Я только отдохнула от людей в своём заключении на берегу Обводного Канала, а особенно от жадно добывающихся славы поэтов, прилепляющихся к колесницам знаменитостей во что бы то ни стало. Я понимаю таких отшельников, как Блок. Так трудно поверить в искренность и бескорыстные чувства друзей.

Вера Аренс — Александр Блок



197



198

А.БЛОКУ

В дыму качается кадило,
Небесная сияет твердь,
И сердце мне тоска сдавила
Непоправимая, как смерть.

Он мне не брат и не любимый,
Но из поэтов он поэт,
Его торжественное имя
Не позабудут сотни лет.

Стихи его — звучат, как песни,
В снегах волшебная печаль...
Звучат одни других чудесней,
Ворвутся в сумрачную даль.

Но будущие поколения
Увидят жатву, не жнеца,
Для них он будет, как виденье
В сияньи северном венца.

Лишь тот, кто знал лицо поэта,
Глаза правдивые его,
Внимал словам его привета, —
Не позабудет ничего.

Прости, поэт, слова простые,
Тоску унылую мою,
Со мной горюет вся Россия,
Оплакивая смерть твою.

Подготовка текстов и составление Арсена Мирзаева. Публикация
Е.Л.Аренса.

Вера Аренс — Александр Блок

Бесследно камни десь. Мелтея, на балконе
Гидрит туристской дилек мука, ещё осенней,
И в безразличности расслабленных окон,
Уже курящие, тоскливо-белая стена.

Сейчас наступит ночь. Так густа облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновения:
Мам всё, что прожито, — жеманье и тоска
Мам всё, что думается, — усталость и забвенье.

Здесь вечер как всегда: и робок и мигучь,
Но сердцу, где ни стук, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и смито столько шур...
Он как-то думает розовых закатов.

Не мерещится ли вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Может же быть иная среда,
Где живет не совсем по-другому?

С тенью тени там так легко слышать,
Мам добавят такая минутка,
Что играли неразлучно вы
Ма ухари друг в друга как бурто

И движением слушать этот мир
Мы боимся, мы слова нарушить,
Только ухри кто боимся критик,
Заставляя далеко слушать.

Но едва запалает свеча,
Чужий мир уступает без боя,
Лишь у глаз по наклону луча
Темн в темноте светит голубое.

И. Анненский

201



Алексее Гурьянову
- самому "сумеречному"
жителю Европы -
посвящается этот номер

Редакция:

Александр Новаковский



Арсен Мирзаев



Ирина Ильина



Александр Скидан

Макет и оформление:



Елена Иванова



Владимир
Барсуков



Александр
Клопов

В номере использованы работы Александра Решетина,
Сергея Батурина, Ильи Иванова, Натальи Кутилиной.

*Первое сто экземпляров
тиража журнала пронумерованы.*

И -----

Представитель журнала за рубежом - Veronica Ahrens-Pulawski, Globus
(A Slavic Bookstore) 332 Balboa street, San Francisco, CA 94118 USA.
Tel. (415)-668-4723.

По всем вопросам обращаться:
Санкт-Петербург, 197136, а/я 48.

203

Выпуск номера осуществлён при поддержке
Акционерного общества "Реакон".



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
•РЕАЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ•**

**Санкт-Петербург, 192241,
тел.: (812) 105-51-52
Р/с 16000467901
в Московском отделении
Банк «Санкт-Петербург»
МФО 171061**

- современные научно-инженерные разработки в области оптики, лазерной техники, электроники, физики твёрдого тела;
- гарантии деловых контактов со всеми регионами России, Украины, Белоруссии, государств Балтии, Казахстана и Кыргызстана;
- маркетинг и поставка металлов, леса и энергоносителей.

